
Глава 23.

После 25 Октября (1917–1918 годы)

26 октября с утра стрельба в городе возобновилась и продолжалась весь день. Большевики доламывали пытавшихся еще сопротивляться юнкеров. Часть юнкеров засела в доме нашего министерства на Морской (№ 20), куда юнкера были двинуты отстаивать расположенную в доме рядом (№ 22) центральную телефонную станцию. Теснил оттуда юнкеров отряд матросов. Бой был ожесточенный. В середине дня сопротивление юнкеров было сломлено.

Я не ходил в министерство, заболел гриппом еще накануне — 25 октября. Точно нарочно расхворался к этому дню. Ведь уже с начала месяца было известно, что именно 25 октября состоится выступление большевиков для захвата власти.

Вечером ко мне зашли сослуживцы. Рассказывали, что министры Временного правительства, захваченные в Зимнем дворце, были арестованы и отвезены в Петропавловскую крепость. Керенский бежал. Большевики сформировали правительство, собравшееся в Смольном.

Я продолжал прихварывать и не выходил.

27-го прибыл в министерство назначенный народным комиссаром по иностранным делам большевик Урицкий. Описывали мне его коренастым, небольшого роста, прихрамывавшим, с бритым лицом, в пенсне, угрюмым, молчаливым. Урицкий обошел помещения министерства. Особо служащих не собирал и с речью к ним не обращался¹.

Юнкера повсюду, где еще держались, были сломлены. Стрельба затихала. Улицы понемногу заполнялись народом. Солдаты и матросы останавливали офицеров и срывали с них погоны.

Урицкий недолго оставался во главе нашего ведомства, ограничившись одним-единственным его посещением. Дня через два на смену ему в министерство прибыл Троцкий². Он собрал служащих, держал им речь. Но она успеха не имела. По-видимому, служащие плохо слушали обращенное к ним слово. События были ярче и резче речей. По крайней мере, те из сослуживцев, которые меня посетили в этот день, никак не могли передать мне содержание речи Троцкого, хотя последовавшая затем встреча и показала, что Троцкий хорошо владел словом и говорил ясно и ярко. За ним вообще установилась репутация оратора. Зато

обстоятельно рассказывали мои посетители, как служащий министерства Чемерзин (в свое время офицер лейб-гвардии Егерского полка, бывший короткое время после перехода в дипломатическое ведомство поверенным в делах нашего очень маленького и очень скромного по рангу представительства в Абиссинии), рассчитывая произвести сенсацию, пытался изобличить Троцкого в самозванстве: «Вы Бронштейн, а не Троцкий. Присваивая себе не принадлежащее вам имя, вы являетесь самозванцем». Троцкий отвечал, что столько-то лет не прекращавшейся политической борьбы и подполья, чередовавшихся с заключением в царских тюрьмах, когда по необходимости приходилось измышлять себе «боевую кличку» политического борца, в достаточной степени оправдывают присвоенное конспиративное имя, под которым он, Троцкий, и наиболее известен в широких политических кругах. Выходка Чемерзина прозвучала фальшью конфузной фанфаронады³.

Троцкий потребовал явки на следующий день начальников отдельных частей министерства для передачи дел ведомства новому правительству. Мне посоветовали прийти. Имелось основание ожидать, что кто не придет — того приведут⁴.

Поэтому, хотя мне все еще немного нездоровилось, я наутро отправился в министерство. Собрались в колонном зале пустовавшей со времен Н. Н. Покровского квартиры министра начальствовавшие лица, за исключением А. А. Нератова, выехавшего зачем-то в Москву. Пришли и вице-директоры, и помощники начальников отделов, и другие, преимущественно старшие, служащие. Из разговоров выяснилось, что без всякого предварительного сговора, совершенно стихийно назрело решение большинства служащих не оставаться на службе при большевистском правительстве. И не по одному нашему ведомству, но и по другим⁵.

Как и почему пришла к такому решению служилая интеллигенция? Большевики неправильно приписывали это решение сговору служащих под влиянием противных большевикам политических партий⁶. Громадное большинство служащих составляли беспартийные лица, на которых никакие вообще политические партии влияния не имели. Даже наиболее популярная среди служилой интеллигенции того времени партия «кадетов» (конституционно-демократическая партия) не охватывала сколько-нибудь значительной массы служащих. Дело представлялось проще. Чуждое вообще политических партий, мало знакомое с их учениями и программами, огромное большинство служащих было плохо осведомлено о большевиках. Можно положительно утверждать, что до прихода большевиков к власти служилая интеллигенция в ее большинстве не ведала идеологии большевизма, не разбиралась в марксизме, не читала Маркса, слышала, что им написан «Капитал», но «Капитала» не читала. И это речь идет об интеллигенции, в ее массе имевшей штамп высшего образования. В служилую же интеллигенцию входили грамотные люди и значительно более низкого образовательного уровня. В то же время фабрики, заводы, казармы были охвачены большевистской пропагандой. Вот и получился такой результат, что низовой общественный слой той эпохи познал, хоть в общих чертах, большевизм и проникся симпатиями к нему, а интеллигенция оказалась в стороне, в недоумении перед чем-то неведомым, а по темпераментности выступлений и пропаганды — и перед чем-то грозным. И большевики подбавили еще страху тем, что, возглашая в речах, в печати, в лозунгах «смерть капиталистам и помещикам», они, большевики, этим своим призывом смерти на головы классовых врагов грозили

и «царским чиновникам». Ну могли ли эти «царские чиновники», не ведая идеологии большевиков, а слыша и видя, что они призывают на царских чиновников смерть, не почувствовать ни страха, ни обиды? А именно они, эти едва ли кому нужные, внушенный чиновникам *страх* и нанесенная *обида*, являлись главнейшими стимулами воздержания служащих от сотрудничества с новой властью.

Менее общею причиною была наивная уверенность многих в том, что большевики пришли ненадолго. А потом? Вернутся те, что ушли, и всыпят за службу большевикам так, что если и жизнь оставят, то не обрадуешься! В этом отношении большой вред принесла посланная с дороги бежавшим Керенским телеграмма, предписывавшая служащим учреждений «не подчиняться и не сдавать дел лицам, именующим себя народными комиссарами». И в такой же степени вредным было постановление собравшейся при одном из белых правительств на юге группы сенаторов о предании суду, с возвращением «законного» правительства, всех служащих, оставшихся в должностях после прихода большевиков к власти.

В ожидании Троцкого среди собравшихся шла речь не об оставлении службы — этот вопрос считался окончательно решенным, — а о том, что делать после, какие могли бы быть изысканы другие заработки, оставаться ли в Петербурге или ехать куда — на юг, за границу?

Я беседовал с Петряевым и моим помощником вице-директором Афонасьевым. Вошли, в сопровождении курьера министерства, какие-то посторонние люди. Трое. Впереди полный седой старик с эспаньолкой, разросшееся в большую бороду. «Это они?» — спросил я собеседников. «Нет, — ответил Петряев, — но кто бы это мог быть? Что за люди? Что им здесь нужно? В такой момент!» Петряев подошел к прибывшим. Обменялся с ними несколькими словами. Отошел. Они, как стали, войдя в зал, так и продолжали стоять на месте. Оказалось, иностранцы — не то шведы, не то голландцы. Прибыли для каких-то переговоров с министром и ближайшими его помощниками. Петряев объяснил им ситуацию. Посоветовал дожидаться Троцкого. «Вот выбрали время для своих делишек!» — дивился Петряев. «Жизнь не ждет», — подумал я. Страна взмылась на дыбы. Все полетело вверх-тормашки! А иностранцы знать себе ничего не знают. Пожаловали проводить свои дела.

И вслед за иностранцами почти тотчас вошли двое. «Помощники Троцкого», — пояснил Афонасьев. Они приближались. Я смотрел на шедшего впереди. И глазам своим не верил: двоюродный брат моей жены Евгений Дмитриевич Поливанов — двоюродный племянник бывшего военного министра генерала Алексея Андреевича Поливанова, недавно перед тем окончивший университет молодой человек, о котором в бытность его студентом говорили, что он член черносотенного «Союза русского народа»!

Студент Евгений Поливанов посещал мою семью, бывая хотя не часто, но не прерывая связи в течение нескольких лет подряд. Я ценил в нем выдающиеся его способности. Поступив в университет по тем временам в очень молодом возрасте, 17-ти лет, он одновременно проходил два факультета: историко-филологический и восточных языков. И оба факультета, ни на одном курсе не задержавшись, окончил по первому разряду в положенный четырехлетний срок. Он был умен, талантлив, но что-то в нем предубеждало против него, исключало возможность сближения, не давало установиться симпатии. Не то, что, к немалому нашему удивлению, он оказался, несмотря на молодость, запойным пьяницей,

морфиноманом, кокаином! Эти тщательно скрывавшиеся им пороки вскрыл происшедший с ним несчастный случай. В пьяном виде он соскользнул с площадки вагона перед остановкой поезда у перрона Ораниенбаумского вокзала и лишился руки. Но не несчастные его слабости отталкивали от него. Мало ли мы встречаем среди отпетых алкоголиков и наркоманов людей отменно симпатичных. Отвращала искренний порыв какая-то всего его пронизывающая неискренность слова, взгляда, выражения лица, всякого движения.

«Товарищ Троцкий, — гудел, здороваясь, Поливанов не ожидавшимся при взгляде на его субтильную фигуру низким басом, — поручил мне и товарищу Залкинду, — здороваемся со спутником Поливанова, молодым человеком несколько постарше, небольшого роста, с маленькими черненькими усиками, густыми зачесанными назад темными волосами и раннею проседью на висках, — товарищ Троцкий поручил извиниться перед вами. Сегодня он не может быть у вас. Занят неотложными делами в Смольном. Будет завтра с утра. Просит вновь собраться к десяти часам»⁷.

Наши стали расходиться. Ушли иностранцы.

Расспросив Поливанова, с какого времени он примкнул к большевикам — оказалось, с начала лета, — и поговорив с прибывшим из-за границы Залкиндом на затронутую им тему о наших консулах — он с теплым чувством отозвался о приятеле моем, бывшем сослуживце по Второму департаменту, консуле в Алжире Александре Константиновиче Васильеве, — ушел и я...

На следующее утро я поднимался по лестнице министерства в непривычной обстановке пустоты и безмолвия. На первой площадке направо, перед входом в канцелярию, стоял на часах с ружьем в руках, видимо, рабочий — в черной кофеворотке под пиджаком и в становившейся уже в ту пору универсальным пролетарским головным убором блинообразной кепке, скошенной набок. Выше — еще рабочий-часовой и небольшая группа министерских сторожей и курьеров, не успевших еще снять с себя своих темно-вишневых полукафтанов с красным воротником и серебряными пуговицами с орлами.

Вхожу в приемную перед кабинетом министра. Она пустая. Я одинок. Где другие начальники отдельных частей министерства? Может быть, они меня опередили? Пришли раньше? И, уже освободившись, ушли? Задумчиво шагаю по приемной от угла к углу. Давно ли в ожидании доклада у министра мы здесь пили пятичасовой чай с традиционным куличом и кондитерским печеньем?

Отворяется дверь. Входит человек небольшого роста, сухощавый, чернявый, некрасивый в бросающейся в глаза чрезвычайной степени. Желтоватая кожа лица. Клювообразный нос над жидкими усиками с опущенными книзу концами. Небольшие, пронзительные черные глаза. Давно не стриженные, неопрятные, всклокоченные черные волосы. Широкие скулы, чрезмерно растягивающие тяжелый, низкий подбородок. Длинный, узкий обрез большого рта с тонкими губами. И — непостижимая странность! Необычайно развитые лобные кости над висками, дающие иллюзию зачатка рогов. Эти рогоподобные выпуклости, большие уши и небольшая козлиная бородка придавали приближавшемуся ко мне человеку поразительное сходство с чертом обличия, созданного народной фантазией.

Одет он был в потертый сюртучишко. Крахмальный воротничок рубашки был сильно заношен. Плечи и рукава сюртука засыпаны перхотью с головы.

Штанишки мятые, сильно раздавленные у колен, рассыпавшиеся в концах мелкой бахромкой.

Такова была внешность остановившегося передо мной человека. И не отвечавший этой внешности, раздался приятный мелодичный голос. *Слова чистого русского произношения, без малейшего акцента.* Поразила неожиданностью и форма обращения:

— С кем имею честь?.. Троцкий. Вы не товарищ министра Нератов?

— Нет, я директор департамента Лопухин.

— Отлично! Нам надо поговорить обстоятельно. Мне только нужно обменяться двумя-тремя словами с Нератовым. Не откажите обождать. Я тотчас вернусь. Как пройти к Нератову?

Я показал. Свидание Троцкого с Нератовым, вернувшимся из Москвы, продолжалось недолго. Троцкий почти тотчас вернулся. Тем временем подошли помощники Троцкого Залкинд и Поливанов. Пришли и служащие министерства, заведовавшие кассой и казенным имуществом. Сдачи дел и архивов по описям не предполагалось. Сданы были ключи от присутственных комнат и от шкафов с архивами и делами. И этим дело ограничилось. Речь теперь шла о деньгах и других ценностях (следует заметить, что, кроме казенных сумм, через Министерство иностранных дел проходили деньги и ценности, составлявшие наследства русских подданных, открывавшиеся за границей). Сдачею и приемом всяких ценностей и денежных сумм и занялись сотрудники той и другой стороны. Пока совершалась эта операция, Троцкий беседовал со мной. Предметом беседы явилась попытка Троцкого склонить меня остаться на моем посту. Настояния Троцкого в этом направлении приписываю даче благоприятных отзывов обо мне либо Поливановым, либо курьерами и сторожами, с которыми у меня всегда были наилучшие отношения, либо социалистами, с которыми я встретился, выполняя поручение Временного правительства по содействию политическим эмигрантам к возвращению на родину. У меня создалось впечатление, что социалисты эти остались довольны мною. Могла также сыграть роль незадолго до того появившаяся в одной из вновь народившихся газет (названия не помню) лестная для меня статья, говорившая о моем соответствии занимаемой должности.

Как бы то ни было, но Троцкий склонял меня остаться. А я, под влиянием приведенных выше общих причин воздержания служащих от сотрудничества с большевиками, продолжать службу отказывался, насколько возможно вежливо, приводя мотивы, ни для кого ни в малейшем отношении не обидные.

— Но что же, наконец, вы имеете против нас? — в упор спросил меня Троцкий. — Ответьте конкретно! Что мы кончаем войну, передаем землю крестьянам, национализируем фабрики и заводы?..

— Всего менее, — отвечал я, — я возражал бы против окончания войны. Окончание ее я могу только приветствовать, так как для меня совершенно очевидно, что армии как боеспособной силы уже с начала Февральской революции, а пожалуй, и с еще более раннего момента у нас нет. А без армии воевать нельзя. И народ устал от войны. Ясно, продолжать ее не хочет. Едва ли не главною причиною еще Февральской революции явилось продолжение затянувшейся войны во что бы то ни стало. Именно на продолжении войны, главным образом, сломало себе шею Временное правительство. Причиною вашего успеха, главной, является провозглашение, впервые именно вами, лозунга окончания войны. Да, ее надо кончать!

Спорить против этого могут лишь предубежденная недобросовестность, упрямая тупость или психическое неблагополучие. По поводу передачи земли крестьянам скажу, что считаю в принципе целесообразною передачу крестьянам излишков земли против определенного лимита. Мера эта в особенности оправдывается встречающимися у нас непозволительными по размерам латифундиями. Что же касается национализации фабрик и заводов, то о ней я высказаться затрудняюсь. В этом вопросе я некомпетентен. В него я не вникал. И не пришлось практически с ним встретиться в жизни. Но не в том дело! Все-таки, сознательно или бессознательно, по традиции ли, по инерции длинного ряда поколений, я служил иным принципам. Если сегодня я им изменю и с завтрашнего дня буду служить другим идеям, вы ни уважения, ни доверия ко мне иметь не сможете. А какое же мыслимо сотрудничество без взаимного доверия и уважения? И еще! Простите меня, но после пережитого с начала Февральской революции ряда реконструкций власти трудно признать устанавливаемый и вами режим окончательным. В конце концов, не верится в прочность и вашей власти.

— Вот в этом, — воскликнул Троцкий, — вы ошибаетесь. Мы — единственная политическая партия с темпераментом! Единственно способная умиротворить разбушевавшуюся стихию и удовлетворить массы. Нет, власть наша прочная. Поверьте, мы не уйдем. Я вижу в вас отнюдь не убежденного нашего противника, а лишь колеблющегося интеллигента. Давайте решим так. Отложим нашу беседу. Подождем. Когда вы увидите, что мы не ушли, убедитесь, что, напротив, мы упрочились, крепнем и будем крепнуть с каждым днем, тогда возвращайтесь, и мы продолжим наш разговор.

— А пока, — вновь заговорил я, — отпустите меня с миром. Вы не поверите, как я устал, работая с крайним напряжением чуть не с начала войны. Последние же месяцы работы с бестолковым Временным правительством окончательно сломили силы. Надо отдохнуть. Вот еще причина невозможности, не прерывая работы, сейчас продолжать ее с вами. Вы должны меня понять. Я убежден, что в вашей политической борьбе, достигшей особого напряжения в последние месяцы, и вы основательно утомились.

— Я лично, — отвечал Троцкий, — успел отдохнуть... в тюрьме, откуда только что вышел, посаженный Временным правительством. Вы — другое дело. Не успели отдохнуть. Отдыхайте теперь. Вы свободны. Можете использовать вашу свободу, как хотите. Хотите здесь остаться — оставайтесь. Хотите куда уехать — уезжайте. Даже за границу можете выехать. Мы вам препятствовать в этом не будем.

Дальше Троцкий повел разговор уже не на деловые темы. Говорил, что не по доброй воле взялся за портфель иностранных дел, а подчиняясь партийной дисциплине, что по призванию и профессии он журналист и, если бы это от него зависело, стал бы работать и в качестве члена правительства в газетном деле. Потом, почему-то упомянув, что в холодных и сырых окопах на фронте бойцы сидят босые, сообщил, что для того, чтобы их обути, правительство полагает объявить обязательный сбор обуви с нетрудового населения, «хотя бы ее пришлось стаскивать с ног буржуев». Последние босыми во всяком случае не останутся. Что-нибудь да изобретут. А бойцы будут обуты.

Я вернул беседу в деловое русло. Заметив, что в состав казенного имущества, сверх собственно канцелярского инвентаря, входили вся мебелировка квартиры министра с богатою бронзою, картинами мастеров, писанными масляными

красками, преимущественно из Эрмитажа, дорогими портъерами плотного тяжелого шелка, занавесями, коврами, скатертями, богатая столовая сервировка для официальных приемов, серебро, столовое белье и проч., я убеждал Троцкого удержаться на службе для хранения этого имущества хорошо знавшего, где, что и в каком количестве находится смотрителя зданий министерства, которого я заранее предупредил, что буду просить о его оставлении на службе, против чего, особенно ценя имевшуюся у него по службе казенную квартиру, он не возражал. Видам Троцкого мое предложение соответствовало, и он тотчас на него согласился. Я вызвал смотрителя и сообщил ему, что он остается⁸.

Кстати вспомнив, что возложенную при прежних порядках на учреждения выдачею паспортов заведовал в нашем министерстве смотритель зданий, я ему отдал мой паспорт с нежелательным в тревожное революционное время обозначением моей должности, чина и звания на царской службе и просил срочно выдать мне взамен новый вид на жительство уже без упоминания этих упраздненных революцией титулов.

Через четверть часа новый паспорт, лишенный компрометантных упоминаний, был у меня в руках.

Последовавшие события показали, какую неоцененную услугу оказала мне проявленная мною в этом случае предусмотрительность. Переехав с умалчивавшим о моем прежнем положении паспортом из казенной квартиры на Мойке в маленькую частную квартирку в неведомом мне до того времени Заячьем переулке на Песках, где никто меня не знал, а по паспорту люди видели во мне рядового обывателя, я счастливо избег производившихся, преимущественно по домовым книгам, арестов и преследований, которым подвергались лица моей категории в эпоху Гражданской войны и после, во время подавления советской властью чинившегося сопротивления начавшемуся строительству социализма.

Троцкий и его помощники уходили. Простившись с ними, я поднялся в последний раз наверх, в, увы, покидаемый мною (я не без волнения почувствовал — навсегда) служебный кабинет. Со стены на меня смотрели двенадцать портретов моих предшественников. «Вот не верьте после этого приметам, — мысленно пробрюзжал я, — ведь я, лихо сказать, тринадцатый!»

Курьер, приотворив дверь, сообщил, что пришел и желает меня видеть вице-директор Правового департамента Доливо-Добровольский.

В прошлом лейтенант флота, он поступил в бывший Второй департамент министерства в то время, когда в этом департаменте служил в младших должностях и я. Мы, стало быть, были давние товарищи по службе. Впоследствии Доливо-Добровольский перешел в консульский корпус и был консулом в Черновцах, откуда с началом войны эвакуировался в Петербург в министерство. Здесь он был использован на усиление Второго департамента, некоторое время спустя вновь вошел в штат и, получив повышение, был назначен, после разделения Второго департамента на департаменты Правовой и Экономической, вице-директором Правового департамента. Человек он был талантливый, ловкий, умный, не без хитрецы, весьма себе на уме, болезненно самолюбивый.

— Я пришел, — заговорил Доливо-Добровольский, — попытаться убедить вас остаться в должности.

— Александр Иосифович, да ведь это невозможно! Ну а вы? Вы-то сами? Уходите? Остаетесь?

— Я... остаюсь. Но ведь я — особь^а статья. Я, вероятно, вас удивлю. Однако пришло время признаваться: ведь я у них свой человек, и давно. В молодости отсидел в Петропавловской крепости⁹. Мне-то уже никак не выходит уйти. И мы столкнувались. А вы? Что же? Отказались?

— Да, я отказался. И мы с миром разошлись.

— Вы в этом уверены, что с миром? Я от души желаю, чтобы это было так. Но не следует отдаваться чрезмерному оптимизму. Если окажется, что массовый отказ служащих от работы парализует страну и ставит под сомнение окончательную победу партии, власть, того гляди, разгневется, и возможны будут с ее стороны репрессии. В каких формах они могут выразиться, сказать трудно, но подумать страшно. Переобсудите ваше решение. Еще не поздно.

— Думал я, думал, и предложено мне еще думать, присмотреться и, когда я уверю в прочность нового режима, то вернуться возобновить разговор. Так мы порешили. И пусть оно так и будет. Хуже всего — колебания и метания из стороны в сторону. А тем, что вы мне открыли о себе, я, признаться сказать, удивлен. Никогда вы не давали повода подумать, чтобы это могло быть так.

— Да, это так! А все-таки подумайте о том, что я сказал вам. Только бы не пришлось вам пострадать. Впрочем, и излишнему пессимизму отдаваться не следует. Он ушел. И я стал уходить¹⁰.

При выходе меня окружила группа курьеров. Они прослышали, что я оставляю министерство. И по старой ли памяти, считая ли, что я могу им еще понадобиться, — они привыкли, что именно мною проводились и оформлялись мероприятия по улучшению их материального положения, — курьеры пытались уговорить меня остаться. Не вдаваясь в подробности, я объяснил, что уйду отнюдь не в виду каких-либо лучших перспектив, а на неизвестное и потому страшное, что уходить мне тяжело, но что так нужно. Остаться не могу.

Вечером ко мне приезжал курьер Петров, из молодых, взятый на войну из запаса в Павловский полк, демобилизованный по болезни и недавно вернувшийся на службу в министерство. Петров приехал продолжать меня уговаривать. Он проводил мысль, что хочу я, не хочу, а должен остаться. Страна доведена до развала. Если окончательное военное поражение и будет предотвращено заключением большевиками мира, то нельзя на этом останавливаться. Надо все перестраивать и вести большую восстановительную работу. «И что же будет, если в такой момент будут отказывать в помощи новой власти люди с образованием, выдвинувшиеся своею службою и своими качествами, и которым доверяют подначальные им товарищи?» Для вящего убеждения Петров пробовал меня и припугнуть теми самыми доводами, которыми наводил на меня страх Доливо-Добровольский. Каюсь, повторение бесхитрым простым солдатом устрашений, высказанных интеллигентом отменно тонкого мышления, представилось мне, в качестве уже общего мнения, доказательством основательности сделанного предостережения, и содержащаяся в нем жуть больно ударила меня по издерганным переживавшимися волнениями нервам. Все-таки я стоял на своем, ссылаясь на мои доводы, высказанные Троцкому, и на его предложение мне повременить, присмотреться и потом вернуться к вопросу о службе.

^а Так в рукописи.

И все-таки я продолжал нервничать, ища в разговорах более оптимистических воззрений на возможные последствия нашего «саботажа», как было названо наше «воздержание от сотрудничества».

Поэтому, встретив утром на Дворцовой площади вице-директора Департамента государственного казначейства Министерства финансов Павла Михайловича Гришкевича-Трохимовского и поведав ему о моем «воздержании и т. д.», я хотел было завести с ним разговор на тему о том, что из этого выйдет и чем кончится. Но Гришкевич перебил меня: «О вашем отказе от службы не только слышал, но и читал. Нечего вам беспокоиться. Ваше дело рассмотрено, решено. Есть постановление. Вот, читайте», — протягивает газету. Читаю в ней отчеркнутое Гришкевичем постановление такого примерно содержания: за непризнание власти Совета народных комиссаров исключаются со службы служащие бывшего Министерства иностранных дел такие-то. Следует список: Татищев, Лопухин, еще 6–7 человек преимущественно младших служащих, проживавших в одном доме со мною (казенном) на Мойке у Певческого моста. Только Татищев (директор канцелярии) жил в главном здании министерства под квартирой министра. Список поражал малочисленностью лиц, в нем поименованных. Фактически отказались служить, прекратив посещать службу, все или почти все служащие. А исключили только 8–9 человек. Создавалось впечатление, что список был составлен не по данным личного состава министерства, а по домово́й книге дома № 26 по Мойке. На это указывал как будто и пропуск, среди ответственных старших служащих, товарища министра Петряева, только перед тем въехавшего в дом № 26 и которого не успели еще вписать в домовую книгу. Трудно было объяснить, с другой стороны, непомещение в списке таких бесспорно ставших известными Троцкому и его помощникам старших служащих, как товарищ министра Нератов и начальники политических отделов министерства. Почему из старших пропечатаны были только мы двое: Татищев и я, так и осталось мне неизвестным. Как будто нужно было опубликовать для остротки хоть какой-нибудь список, а полный или неполный — это, вероятно, было сочтено несущественным¹¹.

Троцкий после моего разговора с ним, как видно, передумал. Обуславливавшие мою свободу его оговорки отпали. Я был свободен безоговорочно. Двум смертям не бывать — говорит пословица. По аналогии, претерпев кару *исключения* со службы, другими репрессиями я мнил себя как будто уже не угрожаемым.

Гуляя как-то в эти дни с моими детьми в Александровском саду, у Адмиралтейства, я встретил заведовавшего счетною частью нашего департамента Николая Николаевича Маслова. Он мне весьма конфиденциально сообщил, что приехавшие в Петербург делегаты Афонского монастыря, получавшего ежегодную дотацию из секретных сумм нашего министерства, прослышав, что служащие ведомства, оставив службу, остались без средств к существованию, передали ему, Маслову, только что ими полученное в Главном казначействе по нашей ассигновке очередное денежное пособие, прося обратить его на выдачи нуждающимся служащим. «Когда-нибудь рассчитаемся, — сказали монахи, — а не придется рассчитаться — не беда. Афонский монастырь долгие годы пользовался царской дотацией и в благодарность за оказывавшуюся помощь может теперь кое-чем и поступиться в пользу служащих министерства, всегда относившихся с предупредительностью и любезностью к афонским монахам во всех случаях их обращений в министерство».

Наши бывшие чиновники зашевелились. Висконти и барон Таубе забежали под каким-то предлогом в департамент, чтобы раздобыть данные для разверстки полученного пособия, копались в старых требовательных ведомостях на выдачу содержания и кое-какие ведомости и списки стащили из департамента к себе домой. Чье-то око подсмотрело, как они тащили старые ведомости. Чье-то ухо подслушало их болтовню о раздаче денег. Что-то было кому надлежало донесено. У Висконти и Таубе на квартирах поздно вечером, к ночи, появился, сначала у одного, потом у другого, прикомандированный к Наркоминделу, по-видимому, для доверительных поручений и «исполнительных» действий вообще, молодой и, по рассказам, из ряда вон энергичный матрос-балтиец Маркин, произвел у обоих обыск, нашел стащенные, в сущности, никому не нужные бумажонки, захватил эти бумажонки, а кстате и помертвевших от страха похитителей их. Висконти Маркин отвез в министерство, а Таубе — подальше, в Смольный. Лукавый итальянец Висконти, осмелев, как только удалился Маркин, сдал его в министерстве с рук на руки рабочей охране, сумел как-то выпутаться из неприятного положения, в которое его ввергла его неосторожность, и под утро был отпущен домой, а Таубе провел ночь в разговорах в оказавшейся многочисленную компанию арестованных в Смольном, где засел более или менее основательно.

Утром в слезах ко мне заявила его мамаша — баронесса Таубе, прося исходатайствовать освобождение сына из узилища. Я отправился хлопотать в министерство. Застал Поливанова. Рассказал ему, в чем было дело, что отсутствуют в нем элементы присвоения казенных денег для поддержания «саботажа», а имеет место лишь раздача нуждающимся бывшим чиновникам подаренной, относительно небольшой суммы, что взяты были на дом старые требовательные ведомости для составления раздаточного списка, который, в сущности, можно было составить и не обращаясь к ведомостям, по печатному «Ежегоднику» министерства, содержащему списки служащих по департаментам и отделам¹², требовательные же ведомости имелось, конечно, в виду возратить, что ни на какие преступные деяния Таубе не способен и если в чем виноват, то только в неуместном проявлении лишней раз свойственного ему в непозволительной степени легкомыслия. В заключение я просил Поливанова о содействии к скорейшему, по возможности, освобождению провинившегося барона из-под ареста.

Времена были идиллические. Как-никак, если встать на точку зрения властей, говоривших о «саботаже», Таубе совершил немаловажный проступок. Способствуя раздаче служащим хотя и подаренных денег, он, конечно, способствовал тому, что разумелось под понятием саботажа. Лишенные средств к существованию, служащие скорее бы пошли на капитуляцию. Итак, по легкомыслию или нет, Таубе все-таки провинился перед властями основательно и серьезно. И, тем не менее, Поливанов обещал мне просить о его освобождении из-под ареста. И вечером того же дня веселый и радостный Таубе пал в объятия своей мамашы¹³.

Пообещав мне похлопотать об освобождении Таубе, Поливанов заговорил о приказе, исключавшем меня с некоторыми другими лицами со службы. «Это не направлено против вас. Наоборот, Лев Давидович (Троцкий) хотел, пока остается открытым вопрос о вашей службе, подтвердить вашу солидарность с вашими товарищами».

Памятуя, что слово серебро, а молчание золото, я промолчал. А хотелось спросить: «Ну, а скажите, пожалуйста, не исключив Нератова, Петряева и дру-

гих, кроме меня и Татищева, начальников отдельных частей, вы, что же, не хотели их показать солидарными с прочими их товарищами? В этом смысл того обстоятельства, что они пропущены в приказе?»

Расставшись со службою, я стал хлопотать о приискании частной квартиры для выезда с казенной. Не следовало с этим делом медлить. Няне моих детей сообщил дворник, что какие-то темные личности, появившиеся перед домом, в котором мы жили, пустили слух о том, будто «в квартире директора поставлены пулеметы, чтобы расстреливать народ». Подъем революционной волны был настолько еще высок, страсти в такой еще степени бушевали, что этот вздорный слух, несмотря на всю его вздорность, мог привести к весьма трагическим последствиям для меня и для моей семьи. Надо было подобру-поздорову убираться. Курьер особой комиссии Верховного совета, которой я был так еще недавно управляющим делами, подыскал мне небольшую квартиру в Заячьем переулке, в доме, где он был в свое время швейцаром. Туда мы и перебрались, проведя время ремонта в квартире моего брата и потом в квартире моей матери¹⁴. Хотя Поливанов и телефонировал моей жене, что нам не надо торопиться с выездом из казенной квартиры, тем не менее, матрос Маркин с товарищами вежливо навещался, когда мы полагаем освободить помещение.

О Маркине, сделавшем впоследствии видную карьеру, я только и слышал в эти дни. Он, между прочим, специально занялся эвакуациею бывших чиновников Министерства иностранных дел из казенных квартир, показав рекордную «производительность труда» в этой работе. Знал я о Маркине, однако, только по рассказам. Самому с ним встретиться мне не пришлось.

А ресурсы таяли. У меня, да и у моей жены никакой недвижимой собственности, ни капитала никогда не было. Ни я, ни жена не успели ни от кого получить никакого наследства. Было припасено несколько сотен рублей, и то доставшихся путем учета в Обществе взаимного кредита дружеских векселей. Когда будет истрачена последняя сторублевка (радужная ассигнация с портретом Екатерины II), останутся только 2–3 выигранных билета внутренних займов, да кое-какие ювелирные ценности жены, мои ордена, золотой портсигар, подаренный сослуживцами при уходе с должности управляющего делами особой комиссии по призрению больных и раненых воинов, да карманные золотые часы. Наиболее громоздкая из имевшихся ценностей — столовое серебро — ввиду ожидавшейся эвакуации Петербурга под нажимом германской армии, наступавшей на Псков, было сдано нами на хранение в Ссудную казну и теперь оказывалось вне пределов досягаемости.

Как хотите, нужно было думать о приискании какого-нибудь заработка, не доводя до израсходования последней сторублевки.

Так думал я, так думали многие мне подобные, еще не додумавшись и не научившись обращать в рубли каждый стул, каждую штору и портьеру домашней обстановки. Этим впоследствии, в зависимости от количества и качества стульев и портьер, давалась владельцу более или менее длительная отсрочка голодовки.

— Ну, а тебе нужно думать разве о том, как бы покрасивее устроить себе беззаботную и светлую жизнь на службе капитала! Я уже окончательно переговорил о тебе с Ярошинским, и он ждет тебя к себе завтра в десять утра. Действуй!

Так не без некоторой театральности вещал мне большой любитель эффектов, неоднократно упоминавшийся в настоящих записках мой школьный товарищ,

журналист Владимир Александрович Бонди у себя в кабинете великолепной его квартиры на Офицерской улице.

— Постой, постой, — заговорил я, — не гони меня так стремительно. Теперь-то у тебя времени все-таки побольше, чем раньше. Издательство ваше на ладан дышит. Во-первых, прими мою благодарность за заботу. А во-вторых, расскажи кратко, но обстоятельно о Ярошинском и о том, что он имеет предложить мне. До сих пор до меня доходили о нем только какие-то волшебные сказки.

— Не сказки! Они были бы бессильны изобразить могущество и великолепие Карла Карловича¹⁵. Все, казавшееся тебе фантастическим в рассказах о нем, бледнеет перед ослепительной действительностью. Ярошинский — фактический собственник двенадцати крупных банков, сахарный король, единоличный владелец множества торгово-промышленных предприятий в России и за границей. По одному росчерку его пера открываются кредиты на миллионы любым иностранным банком. Имеется совет по управлению делами Карла Карловича. В этот совет входят, в качестве членов, бывшие царские министры. Входит, между прочим, Коковцов. Тебя, как имеющего опыт организации и администрирования заграничной службы, Карл Карлович хочет поставить во главе персонала своих заграничных предприятий, хочет, как он выразился, сделать тебя своим министром иностранных дел. Можешь себе представить, какие тебя ждут гонорары, когда состоящий при Ярошинском для мелких поручений наш общий с тобою гимназический товарищ Алевский получает в качестве члена правления какого-то банка тридцать тысяч рублей?!

— Все это слишком хорошо на сегодняшний день. Если бы был 16-й год, а не конец 17-го, то можно было бы еще ждать — по крайней мере, на некоторое время — осуществления планов Ярошинского. Но неужели он не понимает, что Ярошинский, как олицетворение капитала, и большевики, как марксисты, исключают друг друга, и что будет исключен Ярошинский большевиками, а не наоборот, ибо они уже государство и по учению своему хотят — не хотят, а обязаны уничтожить Ярошинского. Он лишится всего в России, и едва ли тогда не затрещат и заграничные его предприятия. Нечем будет мне заведовать. Вот что мне подсказывает здравый смысл. Но я все-таки побеседую с Ярошинским. Мало ли чего не бывает. Все предугадать нельзя. И иногда сбывается невозможное.

Я отправился к Ярошинскому в его дом на Морской. Приемная его кишела народом. Тем не менее, я был принят тотчас.

Великолепный кабинет не подавлял своей строгою роскошью и громадными размерами статной и мощной фигуры хозяина. Последний выглядел еще молодым, лет сорока с небольшим, цветущего здоровья. Был полон сил, недурен собою, с правильными чертами лица, коротко подстриженными волосами головы и усов, бритым подбородком. Движения все говорили о спокойной уверенности в себе. И уверенность звучала в громком, но мягком голосе.

— Россия осрамлена и унижена, — заговорил Ярошинский, посадив меня после краткого приветствия в кресло против себя, — и я не знаю, как и когда она сможет оправиться и заставить забыть свое унижение. Все-таки никто, я полагаю, не должен опускать рук. Надо работать изо всех сил несмотря ни на что, как будто ничего не случилось! Будем работать! Я рассчитываю на вашу помощь!

И он пустился в пространное объяснение своих видов на меня, в общем правильно мне переданных В. А. Бонди. Объяснения перешли в диалог на деловые темы.

Изложив мои соображения, я в заключение просил Ярошинского, в виде личного одолжения, по возможности не вводить меня в работе в сношения с занимавшим, по моим сведениям, видную должность в одном из его банков моим двоюродным братом Алексеем Александровичем Лопухиным, бывшим директором Департамента полиции.

— Нам не должно встречаться, — пояснил я, — я его не люблю, не уважаю, и у меня есть старые счеты с ним. Несколько лет тому назад я был вынужден предупредить его письменно о том, чтобы он избегал встречи со мной.

— На этот счет вам беспокоиться нечего. Вы можете совершенно его игнорировать. Я и сам не очень очарован вашим кузеном. Да и не вечен он среди нас. Вот, видите шкапик? В нем хранятся заранее написанные и подписанные просьбы об увольнении каждого из директоров и членов правлений наших банков. Таков у нас порядок, что перед занятием должности директора или члена правления подписывается такая бумажка. В нужный момент она извлекается из шкапика... и содержащаяся в ней просьба удовлетворяется.

Обменялись еще двумя-тремя словами уже à bâtons rompus^a. Я почувствовал, что на сегодняшний день разговор исчерпан. И приподнялся.

— Дня через два, — сказал, прощаясь, Ярошинский, — я приглашу вас вновь зайти, чтобы уговориться о подробностях и оформить наши взаимоотношения.

Но я интуитивно почувствовал, что больше его не увижу.

Действительно, «дня через два» В. А. Бонди сообщил мне, что Ярошинский был вынужден весьма поспешно скрыться за границу¹⁶. Оправдывались мои слова.

— Только ты не думай, — пояснял В. А., — что он совсем уехал. В самом продолжительном времени вернется. И ты оформишь свое положение!

Не стоило возражать. Мы все одинаково не понимали в те дни, вся так называемая интеллигенция, за исключением социалистов, что такое произошло 25 октября. Но различно трактовали создавшееся положение. Ставили различные прогнозы его перспектив.

Сходясь далее в долгое время державшейся уверенности, что большевистская власть непрочна, ограничивали ее существование разными сроками. Одни — настолько короткими, что отпадал вопрос о том, успеют ли большевики осуществить свою программу. Другие допускали, что новая власть продержится долгое время и придется пережить все стадии коренного переустройства общества, причем предсказывали конечный провал предстоявших социальных реформ, почитавшихся утопистскими.

Нужны были победа большевиков в несколько лет продолжавшейся Гражданской войне и интервенции, крах противившихся течений и первые успехи социализации и восстановления обороноспособности страны, чтобы интеллигенция вся, наконец, поняла и зашагала в ногу с большевиками по путям социализма.

В описываемые дни было, однако, еще далеко до этого прозрения. Интеллигенция жила, старалась жить, «как будто ничего не случилось». Опиравшаяся на капитал, допускала убытки, потери, но твердо верила, что сокрушить капитал не под силу никакому режиму. Что перед ним устоит? «Все возьму, сказала злато»¹⁷. И отступал и всегда отступит «булат». В. А. Бонди и казалось, что Ярошинский скрылся потому, что рассудил скрыться, и вернется, когда рассудит вернуться.

^a Здесь: урывками (фр.).

Я же полагал, что, придя надолго, если не навсегда, большевики неукоснительно будут проводить свою программу, в частности, хлопнут по капиталу. Отступит не булат, а золото. Ярошинскому не придется в России и по предприятиям и капиталам, находящимся в России, проявлять свою волю. И остается ему оставаться там, куда привел его Рок.

Моя попытка устроиться на работу у Ярошинского сорвалась. Потянулись непонятные дни.

Обреченная на ликвидацию частная торговля пока кое-как еще держалась. Но становился катастрофическим недостаток товаров на рынке. В действительности запасов и накоплений прежних лет таилось в стране еще достаточно. Но они припрятывались хозяевами из-за стремительного падения денежного курса, в чаянии стабилизации его и в значительной степени в соображениях спекулятивного поднятия цен. Главною же причиною обестоварения рынка являлось неправильное распределение товаров где-то, в каких-то тайниках и кладовых на необъятном пространстве страны, при полной разрухе транспорта. Последний совершенно не справлялся с переброской товаров из производительных в потребительские центры и из мест скопления ценностей в места, лишенные запасов. В Петербурге, Москве и большинстве соседних городов севера и центра Европейской России дефицитным стало все наиболее нужное. И предлагалось на рынке ненужное. За предметы первой необходимости требовались бешеные деньги. Хлеб, сахар, масло, картофель можно было получить по безобразно высоким ценам, и то только случайно. Мы пекли лепешки из жесткой маисовой муки, а когда ее не стало — из кофейной гущи, вернее, из гущи суррогатов кофе. Чтобы испечь лепешки, «обжиривали» раскаленную сковороду, проводя по ней кончиком восковой свечки. В дело шли хранившиеся десятками лет в кивотах остатки свадебных свечей, увитые искусственным флёр-д'оранжем. Варили кисель из случайно полученного овса. Радовались как деликатесу с великим трудом добытой брюквине. Не прививалась, из-за неприятного вкуса, замена в кофе и чае сахара сахарином. Искали патоку. У кого были гомеопатические аптечки с медикаментами в сахарных крупинках, опустошали такие аптечки.

В городе громились винные погреба. Вино всевозможных видов и сортов тут же на месте распивалось. «На вынос» шла меньшая часть захваченных напитков. Шумно громился погреб Зимнего дворца. Рассказывали, в потоках разлившегося из разбитых бочек вина потонуло немалое число перепившихся до потери сознания громил. Отыскивались и расхищались и отдельные погреба частных лиц из бывших богатеев. Вокруг винного погрома хороводом неслась кровопролитная драка. Гремели выстрелы. Зажигались пожары.

С наступлением сумерек избегали выходить из дому. На улицах было жутко. Город плохо освещался. В закоулках раздевали и убивали.

Однако и среди дня на многолюдных улицах наблюдались невиданные до того жуткие сцены, не вызывавшие вмешательства толпы лишь из-за крайнего ее перепуга. Вот зигзагами мчится по тротуару некто с искаженным от ужаса лицом. За ним несется грузный солдат в папахе, откинутой на затылок, с револьвером со взведенным курком в руке. Вот сейчас выстрелит...

Стараясь не засиживаться до темноты, я посещал в ту пору мою мать, жившую на Звенигородской улице, брата — на Знаменской, школьного моего товарища, журналиста В. А. Бонди — на Офицерской, Н. Н. Покровского, пе-

реехавшего из министерской квартиры в частную на углу Воскресенского и Захарьевской. Из бывших своих сослуживцев заходил к А. П. Вейнеру, бывшему вице-директору Второго департамента Министерства иностранных дел, проживавшему в бывш<ем> собственном своем доме на Сергиевской ул<ице>, к Г. А. Козакову, бывшему начальнику Дальневосточного политического отдела министерства, жившему где-то по соседству Английского просп<екта>.

Трагической была судьба Козакова. Одиноким, привыкшим за годы, проведенные на службе в консульском корпусе, к заграничной жизни, он и теперь, не находя себе применения в России, вознамерился перебраться за границу. Об этом своем намерении он высказывался при встречах со мной у него или у меня на квартире, но лишь предположительно, а не в качестве определенного решения. Потом он запропал. Между тем для легального выезда за границу время было упущено. Граница была закрыта. Выезд воспрещен. Некоторое время спустя бывшие сослуживцы передали мне пришедшее из-за границы известие о том, что Козаков все-таки привел свое намерение в исполнение. Он бежал за границу. Однако, пробираясь в Финляндию зимою через Сестру-реку, провалился во льду реки. Застудил ноги. Пробираясь дальше, отморозил их. Жестоко страдая, добрался до Лондона. Но там скончался от гангрены ног.

Вообще публика наша стихийно устремлялась за границу. Движение началось еще до 25 октября, лишь в предвидении ознаменованных этою датой событий. После же 25 октября выезд приобрел массовый характер. Из Петербурга люди либо непосредственно выезжали за границу, пока граница была открыта, через Торнео via Берген, либо посредственно через Кавказ, Крым, Николаев, Одессу, думая вначале отсидеться на юге России, а потом вынужденные оттуда бежать с наступлением ужасов Гражданской войны.

Кому не удалось бежать, из осевших на юге, те жестоко пострадали. Большая часть пали жертвами революционной бури. Но многие погибли естественной смертью, оказавшись не в силах противостать всяческим лишениям, порожденным разрухою, и пережить потрясшие их сознание непонятые ими события.

Отправились одними из первых на юг, из числа тех, чьи имена пользовались известностью по значительности занимавшегося положения: дважды премьер-министр И. Л. Горемыкин, дважды министр — сначала финансов, потом — торговли, впоследствии управляющий Государственным банком И. П. Шипов, бывший министр иностранных дел С. Д. Сазонов и др.

Горемыкин, как рассказывали, был убит вместе с женою на черноморском побережье Кавказа, неподалеку от Сочи, нападшими на его дачу бандитами.

И. П. Шипов скончался на кавказских минеральных водах вскоре после своего приезда туда, по-видимому, от удара. Первый удар с ним приключился после проигранного им сражения с Менжинским, прибывшим в банк с требованием передачи банка с его фондами большевистскому правительству. Шипов повоевал, очевидно, вспомнив одержанную им в 1905 г. победу над агитаторами всеобщей забастовки, пытавшимися проникнуть в Департамент государственного казначейства, которого Шипов в ту пору был директором¹⁸. Агитаторов этих ему тогда удалось в департамент не допустить. Теперь дело представлялось куда серьезнее. Шипов повоевал, сомлел и упал в обморок. Насилу привели его в чувство. Всего какой-нибудь месяц перед тем я был у него в банке по делу министерства, и мы долго беседовали и на злобы дня, и на старые темы, вспоминая прошлое. Он вы-

глядел хорошо. Ничто не говорило о том, что уже почти вплотную Шипов подошел к роковому пределу.

Сергей Дмитриевич Сазонов, по слухам, отсидевшись в Ялте в каком-то подвале, не то заточенный большевиками, не то скрываясь от них, благополучно отплыл морем за границу, чему мы имели подтверждение в советских газетах. Он был признан западными умниками экспертом по русским делам, и французское и английское правительства советовались с ним по этим делам, не распознав в бывшем министре легкомысленную посредственность даже тогда! После крушения империи, которого Сазонов был одним из непосредственных виновников.

Пока Сергей Дмитриевич еще отсиживался в Ялте, я получил от него письмо, не повергшее меня в изумление только потому, что оно явилось новым доказательством давно мне известного легкомыслия Сазонова и абсолютного его неумения разбираться в обстановке. Над Россией пронеслось 25 октября. Не стало ни прежнего Министерства иностранных дел с Первым его департаментом, которого я был директором, ни прочих бывших царских установлений. А Сергей Дмитриевич вежливо, но едко пеняет в письме на меня за то, что я мало о нем, о Сергее Дмитриевиче, забочусь: не распорядился до сих пор высылкою ему жалованья — если не по Министерству иностранных дел, то по Государственному совету (при увольнении с должности министра иностранных дел Сазонов был назначен членом Государственного совета¹⁹; получив затем назначение на должность посла в Лондоне, оставался членом Государственного совета; промешкав с отъездом в Англию из-за боязни германских субмарин и за это уволенный Временным правительством с должности посла, формально продолжал числиться членом Государственного совета).

Постепенно перебралось за границу большинство моих бывших сослуживцев. Из старших должностных лиц министерства остался в России, в конце концов, один я.

Поселившись в доме в Заячьем пер<еулке>, я оказался в близком соседстве с проживавшим на Песках бывшим служащим по Второму департаменту министерства Константином Евстафьевичем Горбачевым-Горбачевичем. Он меня интересовал как живое предание дней молодости, когда я в первый раз поступил в дипломатическое ведомство. Но чем особенно он был мне интересен, так это тем, что был хорош с писателем Петром Петровичем Гнедичем, с которым я и познакомился у Горбачевича. Петр Петрович настолько известный писатель, что не приходится говорить о существовании его таланта и предмета творчества. Всем знакомы его фундаментальные труды по истории искусств, его разносторонняя и плодотворная деятельность в области журналистики и театра. Хотелось бы лишь отметить, что многие его современники, и я в их числе, высоко ценили в Гнедиче также и выдающегося писателя-юмориста. В этом качестве он выступал в разных изданиях повременной печати и систематически помещал фельетоны в газете «Новое время» под псевдонимом «Старый Джон». Юмористические его произведения самого высокого качества, и от некоторых можно надорвать животики от здорового, поднимающего вас на крыльях радости смеха. После Октября я ходил к Гнедичу на квартиру его на Николаевской ул<ице> советоваться о возможностях литературной работы. Петр Петрович рекомендовал мне написать мемуары, считая интересными события, которых я был свидетелем, и лиц, с которыми встречался, сотрудничал или которых наблюдал.

Горбачевич, посещая меня после Октября, выражал недовольство обстоятельствами. Я ему возражал, доказывая, что ему не угодить. Не преуспевая по службе при царском правительстве, он принадлежал и в прошлое время к числу недовольных. Радостно приветствовал в 1905 г. великую репетицию наступившей революции и объявил себя «кадетом» (членом конституционно-демократической партии). «Вы записались в кадеты? — спрашивал он меня при всякой встрече, начиная с осени 1905 г. и вплоть до открытия Государственной думы в мае 1906 г. — Нет, не записались? Ну так вот, помяните мое слово. Случится революция. И вас за то, что вы не записались, повесят!» Теперь я ему напоминал его настроения до Революции. И доказывал, что с ними не вяжутся его нынешние настроения. Он сердился. Большой, грузный, лицом некрасивый, раскосый, хромой, Горбачевич в сердцах был отменно дурен и в то же время смешон. Я смеялся. Посердившись, он присоединился ко мне, и мы смеялись вместе. «Не к добру смеемся, — давясь и кашляя, прокашливал Горбачевич, — не к добру!»

Навещали еще время от времени меня: упоминавшийся в записках бывший старший делопроизводитель нашего департамента, на правах вице-директора, Евгений Александрович Висконти и вышедший еще до Революции в отставку бывший смотритель зданий Министерства иностранных дел Владимир Сатириевич (просил выговаривать «Сергеевич») Цомакион.

Висконти был человек удачливый. И служилось ему неплохо. И средствами обладал недурными. Владел большим и красивым домом в Демидовом пер<еулке> и имением под Лугой. Окончил архитектурное отделение Академии художеств. Поэтому в министерстве заведовал всеми вопросами и делами по постройке нами зданий за границей для наших дипломатических и консульских установлений в резиденциях, где не находилось подходящих наемных помещений или в которых требовалось иметь собственное здание по тем или иным «особым» соображениям — престижа, безопасности (в некоторых местностях на Востоке) и т. д. Другую специальностью Висконти, не имеющей ничего общего с первой, являлись дела по испрошению министерством должностным лицам ведомства чинов и орденов. Для этого будто бы требовались ловкость и лукавство прирожденного итальянца, каким был по происхождению Висконти, имевший родственные связи в Италии и в Испании. Из Италии после Октября ему писали, приглашая переселиться туда. Русский подданный, женатый на русской, получивший воспитание и образование в России и всю жизнь прослуживший ей, Висконти не захотел расстаться с Россиею и остался в любезном его сердцу Петербурге.

Цомакион, греческий человек, бывший офицер гусар-сумец (Сумского полка), был добродушнейшим малым слегка хлестаковского пошиба, немного себе на уме, но неизменно благожелательным и услужливым. Под внушительным, красиво изогнутым носом вырастил себе густые усы с громадными подусниками, родил двух недурненьких, с носу на него похожих дочерей и при наличии живой, не разведенной с ним жены открыто жил с француженкой. Обедать зазывал друзей и товарищей не к жене на казенную квартиру в министерстве, а к француженке в частном доме на ул<ице> Жуковского. Министру Сазонову недоброжелатели Цомакиона нашептали, что туда же направлялись подносившиеся француженке, а не цомакионовой жене букеты цветов с вложенными внутрь пачками радужных бумажек (сторублевок) от благодарных подрядчиков, поставлявших министерству дрова, строительные и другие материалы и выполнявших разно-

го рода услуги (ремонт зданий, курьерский извоз и т. п.). Не проверив этих напештываний, Сазонов, подтолкнутый своей супругой Анной Борисовной, всюду искавшей вакансий для устройства раненых офицеров, решил открыть у себя вакансию смотрителя зданий. Она была замещена симпатичным, но мало к ней подходившим демобилизованным офицером гвардейского Гренадерского полка Пашенкой. Цомакион пострадал и, как будет видно, не к благу и не на пользу министерства. Я еще не был тогда директором. Дело прошло мимо меня. Об увольнении Цомакиона я, конечно, не мог не знать. Но причиной не интересовался, считая, что не могло быть причины иной, как только легкомыслие Сазонова, способного довериться любому напештыванию без проверки обстоятельств дела. О букетах слух до меня дошел *post factum*. Я допускаю, что никаких букетов и не было. Назначенный директором, когда заготовленные Цомакионом дрова не все еще были использованы и оставалась значительная часть, уложенная в штабели на обширном дворе бывшего дома министерства на Морской улице, я отправился осмотреть эти дрова. Они оказались превосходными во всей наличной партии, что свидетельствовало о ложности утверждения цомакионовых недоброжелателей, будто о качестве заготовки нельзя было бы судить по дровам, приносившимся на квартиры начальства; для него, видите ли, отбирались лучшие дрова, а шедшие по другому назначению, в больших количествах, были похуже. От наших штабелей я пошел к соседям в Министерство финансов с просьбой показать их дрова. Они были хуже наших и дороже. По обследовании, лучше и дешевле оказалось у нас все: и произведенные ремонтные работы, и курьерский извоз, и проч. Грешным делом я подумал, что если и были букеты, то плевать было на это обстоятельство, а не поднимать истории! Налицо было примерное, отличное соблюдение выгод казны, а не нарушение ее интересов. Букеты если и были, то было ясно, что в настоящем случае дело все-таки сводилось не к взятке, а к не изжившемуся еще в те времена обычаю «поднесения благодарности из уважения». Таким смотрителем, как Цомакион, надо было дорожить. Вообще поменьше нужно в жизни лицемерия и лжепринципиальности!

Навестил меня однажды и Михаил Сергеевич Рошаковский. Небезынтересная личность. В прошлом — лейтенант флота, командовавший во время войны с Японией миноносцем в Порт-Артуре. Прорвался из Порт-Артура и разоружился в одном из нейтральных китайских портов. Тем не менее, его миноносец пыталось захватить японское военное судно. Командир полез на русский миноносец. Разоруженный Рошаковский, не имея иных средств воздействия, схватил японца за шиворот и сбросил в море. По окончании войны Рошаковский женился на вольнской помещице девице Мезенцовой. Замужем за ее братом была моя двоюродная сестра, урожденная Батурина. Таким образом, мы оказались в некоторого рода свойстве с Рошаковским. В качестве моряка Рошаковский мог претендовать на оказывавшееся всем русским морякам покровительство «королевы эллинов» Ольги Константиновны, дочери покойного генерал-адмирала русского флота вел<икого> кн<язя> Константина Николаевича (брата императора Александра II). Рошаковский испросил согласие королевы быть его посаженной матерью на свадьбе с Мезенцовой. Свадьбу сыграли в домовый церкви принадлежавшего брату королевы, вел<иконому> кн<язю> Константину Константиновичу, Мраморного дворца на Дворцовой набережной в Петербурге. Я присутствовал на этой свадьбе. Королева своим участием в свадьбе Рошаковского не ограничила заботу

о нем. По его просьбе она содействовала переводу его из флота в наше ведомство, добившись почти вслед за тем прикомандирования Роццаковского к нашей миссии в Афинах. Роццаковский всегда себя переоценивал. Подмочив японца, считал себя на голову выше ничего героического не предъявлявших своих современников. Как он меня презирал, пока я не сделался директором департамента того самого ведомства, в котором Роццаковский состоял на службе! Мое продвижение по министерству заменило мне в глазах сурового Михаила Сергеевича геройские подвиги, и он сделался милостив ко мне. Итак, Роццаковскому было свойственно себя переоценивать. Попав, благодаря королеве эллинов, в столицу эллинского королевства в качестве русского атташе, Михаил Сергеевич стал пересаливать в преувеличении своего значения. Недовольный сыновьями королевы за неестественно ими высказывавшееся более чем холодное отношение к России, Роццаковский ставил королеве на вид некорректность поведения греческих принцев, читал королеве нравоучения, требуя ее воздействия на сыновей. И, как мне передавали, надоел Ольге Константиновне. Его перевели в Дармштадт секретарем тамошней нашей миссии. Министром-резидентом в Дармштадте был в ту пору сделавшийся потом моим предшественником по должности директора департамента Василий Яковлевич Фан дер Флит. Он прекомично жаловался мне на Роццаковского за его порывы к большой активности в тихой заводи нашего дармштадтского поста исключительно представительного значения при брате императрицы Александры Федоровны. «Смотря на Роццаковского, — заключал Фан дер Флит, — я всякий раз представляю себе океанский дредноут, спущенный в садовый пруд, в котором ему некуда повернуться! Понятно, что Роццаковский вечно недоволен». Когда началась война, и наше представительство было из неприятельских стран отозвано, Роццаковский был прикомандирован к нашему департаменту на усиление штата. Поставленный этим в относительно скромное положение, он и тут не мог, как бы хотел, развернуться и показать себя. Продолжал быть недовольным. Теперь, сидя у меня в Заячьем пер<еулке>, Роццаковский все прошлое и всех нас, «бывших», беспощадно критиковал. Ушел. Больше я его не видел. Дошел до меня слух — не помню, откуда — что он пробрался с женою и дочерью в Норвегию.

После письма С. Д. Сазонова, присланного из Крыма, с упреками за отсутствие будто бы с моей стороны заботы о моем бывшем начальнике, я получил также жалобное письмо из Батавии от Михаила Сергеевича Неклюдова. Бывший мой сослуживец по Государственной канцелярии, рекомендованный мною Министерству иностранных дел для работы по законодательным вопросам, он по болезни оставил должность по министерству в 1910 г., продолжая, однако, числиться в списках ведомства. Неклюдов насмерть перепугался июльского выступления революционных масс и тотчас обратился ко мне с просьбою устроить ему, как состоящему в ведомстве, заграничную командировку. Командировка, а не просто выезд за границу, нужна была потому, что только командированным обеспечивался перевод денег из России за границу, недоступный рядовому обывателю из-за валютных затруднений. Я мог предложить Неклюдову командировку только в Японию на усиление вице-консульства в Хакодате, и то без вознаграждения. Последнее условие его не смущало. Он был человек со средствами. Высылались бы только ему его собственные деньги. Неклюдов уехал. Я успел сделать ему, насколько помню, два перевода. После Октября возможность де-

лать переводы, естественно, от нас отошла. И вот, перебравшись почему-то в Батавию, Неклюдов жаловался на прекращение переводов. Просил что-нибудь ему сделать, как-нибудь помочь. Увы! Просьба была невыполнима.

Неклюдов был балетоман. Ездил к Суворину просить его распорядиться отметить эту его, как он настаивал, *position sociale*^а, в суворинском адрес-календаре «Весь Петербург»²⁰, редакция которого отказывалась признать в любви к балету общественное положение. Суворин просьбу Михаила Сергеевича удовлетворил. Во «Всем Петербурге» за 1917 г. Михаил Сергеевич так и значится «балетоманом». И он действительно был балетоманом — знающим, ревностным и убежденным. Знал все тонкости балета, его историю, традиции и лично весь кордебалет. У него зачастую устраивались обеды с артистками балета. На нескольких таких обедах я присутствовал и познакомился со многими артистками.

С год примерно спустя после неклюдовского письма я встретил одну из бывавших у Михаила Сергеевича артисток на Невском пр<оспекте>. Она мне сообщила полученное из-за границы известие о том, что Неклюдов в конце концов добрался до Европы. Впал там из-за отсутствия средств в бедственное положение и за невозможностью из него выбраться где-то на юге Франции покончил с собой.

С переездом большевистского правительства с его наркоматами в Москву, вследствие угрожавшего Петербургу наступления немцев в псковском направлении, в Петербурге временно оставались небольшие ячейки отдельных ведомств²¹.

От центральных учреждений Министерства финансов осталась, между прочим, ячейка Департамента государственного казначейства, возглавлявшаяся одним из старших чиновников департамента Михаилом Дмитриевичем Зориным. Почему, в силу каких соображений — неведомо, но именно этой «казначейской» ячейке поручалось выработать проект договора Советской Республики с Финляндиею. Зорин испросил разрешение собрать для этого комиссию из остававшихся в Петербурге бывших царских высших должностных лиц²². В состав комиссии были приглашены и вошли бывшие министры: юстиции — Сергей Сергеевич Манухин, иностранных дел — Николай Николаевич Покровский, торговли — Василий Иванович Тимирязев, бывший товарищ министра финансов Сергей Федорович Вебер, бывшие директора департаментов Министерства иностранных дел барон Борис Эммануилович Нольде и я. Кроме перечисленных лиц, в комиссию вошли еще несколько второстепенных чиновников, фамилии которых не припомню. За участие в комиссии было положено жалование, пришедшееся всем без исключения весьма кстати, так как капиталистов среди нас уже не было. Ведущие роли в комиссии принадлежали Манухину и барону Нольде. Работали скоро и споро. Дело приближалось к концу, как неожиданно комиссия была распущена. Видимо, было обращено внимание на несоответствие ее вельможного состава пролетарскому органу.

Когда Советскою властью был заключен мир с Германией²³, я задался мыслью использовать предстоящее возобновление торговых сношений наших с немцами для приискания себе работы в этой области. Чудился широкий частный почин: единоличные предприятия, торговые и промышленные товарищества, акционерные компании и т. п. Из прежних импортных и экспортных предприятий многие, разоренные войной, не возобновятся. Можно будет стать на их место но-

^а Общественное положение (фр.).

вым комбинациям, куда войдут свои люди. Надо лишь заблаговременно сделать своим человеком в среде возможных учредителей этих комбинаций. Можно будет использовать знакомства и связи наших бывших дипломатов с германскими финансовыми и торгово-промышленными кругами для занятия и закрепления позиций на германском рынке.

Сколь наивны были эти специфически буржуазные мечты! И сколь невежественны! Мы продолжали не понимать новый строй под большевистской властью. Не ведали, что одним из основных его устоев являлась монополия внешней торговли, а другим (до установления лишь в качестве временного режима НЭПа) — огосударствление и частично окооперирование всей вообще промышленной и торговой деятельности в стране. Я говорю «мы» не понимали, «мы» не ведали, потому что в беседах по этому предмету с другими бывшими бюрократами, до бывших царских министров, да и с бывшими дельцами, я встречал в них то же невежество, то же непонимание сложившейся новой обстановки, какие проявлял я.

Поддержанный единомыслием со мною соратников из той среды, с которой я сросся от дней моей юности до крушения царства, которому служил, я настаивал на своих мечтах и в ожидании благоприятной для их осуществления конъюнктуры искал возможности ознакомиться с условиями Брестского мира для изучения экономических его последствий. Н. Н. Покровский рекомендовал мне обратиться за нужными материалами в помещавшееся на Невском, между Владимирскою и Николаевскою ул<ицами>, экономическое бюро, в котором орудовал С. Ф. Вебер и сотрудничали, в числе других лиц, несколько бывших чиновников Министерства иностранных дел²⁴.

Проникнув в это бюро, я еще в приемной, у входа, натолкнулся на бывшего старшего делопроизводителя Второго департамента министерства Андрея Владимировича Сабанина, ставшего впоследствии одним из видных сотрудников Наркоминдела²⁵. Сабанин тотчас снабдил меня понадобившимися мне материалами и сообщил, что если я вообще интересуюсь экономическими вопросами и, в частности, желал бы быть в курсе предпринимательских возможностей момента, то мне следует посещать собрания экономистов, устраиваемые неким Жерве, одним из бывших вице-директоров бывшего Министерства земледелия, у него на квартире, в доме на углу ул<ицы> Жуковского и Лиговки.

На собрания Жерве указал мне вслед же за тем А. П. Вейнер, с которым я в то время часто виделся. Располагая средствами, он задумал организовать какое-нибудь промышленное предприятие сообща с 3–4 родственниками и приятелями, имевшими также кое-какие ресурсы. Группа образовалась. Заинтересовались рыбными и звериными промыслами на Севере. Проектировали устройство промысловой базы в Архангельске. Меня Вейнер просил составить записку, содержащую мотивированное ходатайство перед Советскою властью о разрешении организовать и эксплуатировать задуманное предприятие.

К Жерве я пошел. И весьма заинтересовался устраивавшимися им собраниями. На них с исчерпывающей полнотой описания, мотивировки и учета финансовых результатов действительно вскрывались всяческие предпринимательские возможности. Аккуратно посещая эти собрания, я стал накапливать основательную осведомленность в данной области и связался с источником постоянного ее пополнения.

И что же? Хотя, вопреки порожденным непониманием обстановки моим мечтам о возрождении широкого частного предпринимательского почина, ника-

кой такой почин допущен в ту пору не был, тем не менее, приобретенная осведомленность принесла мне, помимо новых знаний, еще весьма реальные плоды в виде поддержавшего меня и мою семью в течение нескольких месяцев весьма приличного жалования. Выплачивалось мне оно одним законно учредившимся на основании объявленных Советскою властью правил московским промысловым товариществом. Впрочем, об этом речь впереди.

Вскоре после овладения властью Советское правительство декретировало, в числе других мер, свободу граждан организовывать промысловые товарищества и союзы товариществ²⁶. Был издан и образцовый устав промыслового товарищества. Достаточно было собрать группу учредителей, подписать учредителям протокол об учреждении товарищества, заполнить пунктирные строки образцового устава индивидуальными признаками данного товарищества с указанием его характера и условий деятельности, и оставалось лишь зарегистрировать устав в компетентном учреждении явочным порядком.

Такой облегченный порядок учреждения промысловых товариществ соблазнил многих «бывших» попытаться путем создания подобных предпринимательских организаций разрешить трагический для всех вопрос о заработке. Разрешая товарищества и союзы, власть, казалось, имела в виду главным образом кооперацию, а с другой стороны — мелкую производственную, преимущественно кустарную, артель, артельные товарищества по оказанию разного рода услуг и артельные объединения. Крупная промышленность национализировалась. Менее всего, очевидно, предполагалось поощрять возникновение торговых товариществ. Тем не менее, препон к их открытию пока не ставилось. Поэтому-то, как это ни кажется теперь удивительным, «бывшим людям» дали учредить в Петербурге такую не соответствовавшую новому строю организацию весьма большого масштаба, как некий «Союз международных торговых товариществ»²⁷. Так и пёрли «бывшие» во внешнюю торговлю. Правда, дальше учреждения союза и подготовительной к открытию его деятельности организационной работы дело не пошло. Но организация все-таки просуществовала более года. Овладела для помещения своих контор бывшим дворцом вел<икого> кн<язя> Владимира Александровича на Дворцовой набережной, ныне занятом Домом ученых. На организационные расходы средства союзу, как мне передавали, отпустил К. К. Ярошинский. В совет союза входил Н. Н. Покровский. Войдя в союз одним из директоров датского его товарищества под самый конец существования этой организации, я не успел ознакомиться с нею настолько, чтобы сохранить в памяти состав прочих, кроме Покровского, виднейших ее участников. Из отдельных лиц помню (потому что давно его знал и часто встречал) Сергея Андреевича Шателена, назначенного незадолго до Революции товарищем министра финансов (Барка). И еще в качестве участника союза помню сослуживца по Министерству иностранных дел барона М. Ф. Шиллинга, бывшего при Сазонове директором канцелярии министерства, а потом при Штюмере назначенного сенатором.

Так вот как оно было. Не понимали большевиков, не знали их программу не только заурядные из нас, но и образованнейшие и умнейшие. И верили в возможность частному почину пристроиться к внешней торговле!

Между тем, временное поддержание моих финансов жалованием за участие в работах зоринской комиссии окончилось и нового заработка не предвиделось. Наступил такой день, когда из тайничка, устроенного мною в книжном шкафу,

я извлек, увы, последние две радужные бумажки (сторублевки). Одну дал жене на столовые расходы, а другую, с тяжелым чувством беспокойства за будущее, положил обратно в тайничок. Впал в раздумье. И в тот же день получил телеграмму из Москвы от двоюродного брата Николая Сергеевича Лопухина, вызывавшего меня для переговоров по делу, требовавшему моего участия. Назавтра отправился. В те дни места в поездах брались с бою. Толпа штурмовала вагоны. Люди калечились. Доходило дело до стрельбы. Мне посчастливилось. Я ворвался в вагон невредимым. Но какой это был вагон? Взятый, очевидно, с одного из загромождавших пути вагонных кладбищ. Ветхий, из состава пригородного движения, т. е. непригодный для дальнего следования, да еще с разбитыми стеклами окон. А мороз стоял крепкий. Вмиг вагон набился до отказа. Люди заняли даже багажные полки под потолком. Сгрудились так, что невозможно было шевельнуться. Забили все проходы. Встать, выйти в буфет на станции, пробраться в уборную нечего было и думать. И так мы ехали относительно небольшой 600-верстный перегон до Москвы ни много ни мало 26 часов! Ноги отекли и так окоченели, что, казалось, невозможно будет на них встать и двинуться. Чудом — когда, подъехав к Москве, поезд остановился — я поднялся и пошел. Отправился по указанному в телеграмме адресу к некому Глебову, с которым никогда до того не встречался, хотя мы с ним и состояли в свойстве, правда, весьма далеком.

Он был одним из внуков князя Николая Петровича Трубецкого — от первого брака князя. Вторым браком князь был женат на моей тетке Софии Алексеевне, урожденной Лопухиной. От второго брака произошли профессора Сергей и Евгений Трубецкие, дипломат Григорий Трубецкой и шесть девиц; от первого брака — две дочери, в замужестве Глебова и Кристи, и сын Петр Николаевич, известный в свое время московский губернский предводитель дворянства. В этой семье от первого брака князя Николая Петровича случился тяжелый роман, закончившийся трагедией. Внук князя, молодой Кристи, женился на дочери ярославского губернского предводителя дворянства Михалкова и жены его, урожденной Унковской — дочери адмирала, почетного опекуна И. С. Унковского²⁸. Михалкова-Кристи была, по общему мнению, особа интересная до чрезвычайности. Так ее расценил и дядя ее мужа князь Петр Николаевич Трубецкой и стал до чрезвычайности же неумеренно за нею ухаживать. До такой степени неумеренно, что в один злосчастный день ее муж, доведенный до соответственного накала, застрелил своего не в меру предприимчивого дядюшку. Произошло это, насколько помнится, до империалистической войны, незадолго перед ее началом. Дело было потушено. Но молодые Кристи развелись. На интересной виновнице трагедии женился двоюродный брат ее разведенного мужа Глебов.

Да, она была интересная, эта встретившая меня — когда я с вокзала объявился на квартиру Глебова — молодая дама, извинявшаяся за отсутствие куда-то и зачем-то отлучившегося ее мужа. Высокая, ширококостная и в то же время хорошо сложенная, стройная блондинка с крупными чертами красивого лица и глубокими голубыми глазами.

Она меня отвела в приготовленную для меня комнату, где, разложив чемодан, я после дороги занялся своим туалетом. Покончив с ним, я вышел в столовую, где застал хозяйку, хлопотавшую у самовара. Она меня угостила чаем с сахаром (!) и с вкусными домашними лепешками, выпеченными из настоящей пшеничной муки (!!).

Мы разговорились. Темой была ее семья. Я знал ее бабушку Анну Николаевну Унковскую и дядю Семена Ивановича Унковского — беспутного Сеню, который, когда мы были гимназистами средних классов, пил со мною и с Петром Урусовым бенедиктин, повзрослее участвовал в поездке бывшего царя в бытность последнего наследником на Восток, потом — без заранее обдуманного намерения — женился на Зуше Ауэр, дочери известного скрипача²⁹, и еще потом — на ее сестре «Мухе». Посетив как-то Сеню в его калужском имении, я созерцал, нагнувшись над колыбелью, ни в малейшей степени не напоминавшего типичного русака, каким был Сеня, черноглазого и черноволосого смуглого младенца с жестким взглядом и хитрым лицом стяжательного еврейского банкира³⁰. С годами Зуша худела, превращаясь в обтянутый засохшею кожей скелет и являя в лице становившиеся все более яркими характерные семитические черты. «Муху» я не встречал.

Хорошо знал я также тетюшку моей собеседницы — Катю Унковскую, вышедшую замуж за моего родственника и сверстника Сергея Дмитриевича Евреинова, назначенного губернатором занятого нами в империалистическую войну гор<ода> Черновцы. Город этот был тогда так стремительно отобран от нас обратно, что Евреинову пришлось уподобиться по краткости администрирования прогубернаторствовавшему на предоставленном ему острове всего лишь несколько часов оруженосцу бессмертного Дон-Кихота Санчо Панса.

Говорили мы и о Михалковых. Я знал еще девицею вторую жену предводителя Михалкова Агришину Владимировну, урожденную Волкову, на которой он женился, овдовев после матушки Глебовой Анны Ивановны, урожденной Унковской^{30а}.

Вошли Глебов и Николай Лопухин. Глебов, высокий, стройный, красивый молодой человек с небольшими черными усами, любезно осведомился, поздравившись со мной, о моем самочувствии после трудного по тем временам пути. Николай Лопухин тотчас заговорил о деле. Группа москвичей из «бывших» провела устав промыслового товарищества типа учреждавшихся петербургскими «бывшими». Провозгласив своим лозунгом ни много ни мало как экономическое возрождение России, товарищество присвоило себе название «Экрос» по входившим в ту пору в обычай сокращенным обозначениям. На самом деле товарищество собиралось проводить всяческие дела — в первую голову комиссионные, а если представится возможность, то и промышленные и торговые, заняться всяческими способными приносить выгоды промыслами. Я приглашался быть представителем товарищества в Петербурге. По своим целям товарищество, естественно, интересовалось пресловутыми «предпринимательскими возможностями момента», чтобы решить, с чего начать, что предлагать в порядке осуществления посреднической деятельности, наконец, какой себе начертать план работы на ближайшее время. Поэтому Лопухин и Глебов, узнав от меня, что я такие «предпринимательские возможности» выясняю и о многих уже осведомлен, весьма этому обрадовались и утверждали, что помощь моя действительно нужна «Экросу». Это подтвердило на следующий день общее собрание членов товарищества, просившее меня сообщить из Петербурга имеющийся у меня материал и держать товарищество в курсе всяких новых предпринимательских предположений. В первую очередь меня просили раздобыть и выслать товариществу записку б<ывшего> Министерства путей сообщения по проекту инженера Борисова о проведении большой Северной жел<езной> дороги³¹. Неужели товарищество

дельцов-дилетантов задумало железнодорожное строительство, считая его себе по плечу? «Бывшие» ни перед чем не останавливались. Не ведали, не ждали, что не пройдет и года, и их мечтаниям будет положен конец и их промысловые организации будут закрыты. С пожеланиями успехов меня снабдили доверенностью товарищества, положили мне тысячу рублей жалования в месяц и первую тысячу выдали авансом на руки.

Вернулся домой с деньгами и работой. Выслал «Экросу» борисовский проект и записку, содержавшую выясненные мною «предпринимательские возможности». В дальнейшем отписывал все, о чем, бывало, услышу на экономических собраниях Жерве.

Так исподволь я сделал открытие, что экономическая осведомленность есть товар, на который имеется покупатель.

Об этом открытии я поведал друзьям, преимущественно бывшим чиновникам Министерства иностранных дел, остававшимся без дела.

Они просили меня попытаться учредить информационное посредническое товарищество, в которое могли бы поступить в качестве конторщиков, бухгалтеров, агентов для поручений и т. п.

Я переговорил с Покровским и Арцимовичем, указав, что в посреднической информации имеется нужда, что за нее платят деньги, в частности, я получаю жалование, на которое прокармливаю семью. Покровский и Арцимович высказались за попытку учредить посредническое товарищество с тем, чтобы я взял на себя организационную работу по его устройству и вошел в состав его правления. Я просил Покровского войти в товарищество председателем совета, а Арцимовича — председателем правления. Они согласились. Арцимович предложил поручить провести и зарегистрировать устав товарищества знакомому ему бывшему присяжному поверенному Заксу. Впредь до учреждения товарищества и приискания ему помещения, Закс предоставил в распоряжение учредителей товарищества для их встреч, переговоров и собраний свою квартиру в известном доме б<арона> Гинзбурга, выходящем на б<ывший> Конногвардейский бульвар, Замятин пер<еулок> и б<ывшую> Галерную улицу. Заксу и его зятю обеспечивались места в товариществе: первому — в правлении, а второму — в конторе. Из бывших моих сослуживцев по министерству я обещал устроить в товариществе упоминавшихся в настоящих записках Е. А. Висконти и К. Е. Горбачевича, а также бывшего заведующего счетною частью нашего департамента Николая Николаевича Маслова; из сослуживцев по б<ывшей> особой комиссии Верховного совета по призрению раненых и увечных воинов и семей лиц, убитых на войне, — графа Корали. Название будущему товариществу было придумано мною: «Гермес». И был заблаговременно приобретен для него бюст Гермеса.

Чтобы создать товариществу связи в коммерческих и промышленных кругах, было признано желательным привлечь в совет товарищества Эммануила Александровича Ватаци, бывшего ковенского губернатора, потом товарища министра внутренних дел и затем помощника наместника на Кавказе. В бытность на Кавказе Ватаци связался с крупным капиталистом-нефтяником Лианозовым и по оставлении службы в наместничестве стал заниматься его делами. Приобретая значительный вес в банковских и торгово-промышленных сферах, являл собою фигуру видную и внушительную. Завербовать Ватаци в товарищество отправились втроем Н. Н. Покровский, В. А. Арцимович и я — к нему на квартиру

в первом этаже великолепного дома на Таврической ул<ице> близ Тверской. Угостил чаем с сахаром (!) и с печеньем (!!). Немножко поломался, но все-таки согласился, поставив, однако, условием, чтобы в товарищество был приглашен в качестве члена правления бывший директор канцелярии Министерства внутренних дел (при Плеве), потом виленский губернатор Любимов.

Для финансирования «Гермеса» в организационном периоде деятельности был привлечен в товарищество разбогатевший на крупных подрядах инженер Чаев. Он упирался, не видя для себя никакого интереса в «Гермесе» и не веря в успех предприятия. Однако уступил настояниям входивших в товарищество крупных бюрократов, рассудив, что «кто знает, может, еще пригодятся». Отвалил паевых пять тысяч рублей.

Закс провел устав «Гермеса». Мы наняли для товарищества помещение (большую квартиру) на Почтамтской улице, близ Исаакиевской площади, обмелировали конторским инвентарем, приобрели «Ундервуд» и открыли двери, поджидая клиентов.

Заявился изобретатель, интересный, но с которым мы решительно не знали, что делать — до такой степени не отвечали его изобретения потребностям момента.

Потом ввалился к нам однажды видный, рослый, смелливый казачина с Урала, предлагая хлеб и скот.

Из смутных далей вырисовывались объекты посредничества. Можно было начать шагать.

Арцимович, имевший связи с Берлином, где был генеральным консулом, написал Блейхредеру, предлагая комиссию для дел в России и прося финансовой поддержки. Блейхредер вежливо отвечал изъявлением готовности вступить с нами в деловые сношения. Обещал всяческие финансовые льготы. Просил при первой возможности сообщить конкретные предложения.

Нам снились сыпавшиеся золотым дождем из туго набитых мешков дивиденды!

Я писал «Экросу» об учреждении «Гермеса». В результате оба товарищества вступили участниками одно в другое.

Еще до вызова в Москву Николаем Лопухиным я виделся в Петербурге с другим двоюродным братом, графом Алексеем Павловичем Капнистом, бывшим военно-морским атташе при нашем посольстве в Риме, вышедшим в отставку перед войной, а с войною мобилизованным в Главный морской штаб и занявшим в нем видное положение. Он был человеком со средствами, получив крупное наследство. Владел имением в Полтавской губернии, домами в Москве, дачею в Ялте. Всего этого он с Революцией, конечно, лишился. Но от больших достатков и остатки выходят немалые. Кое-какие деньжата под подушку завалялись. И в отчаяние он не впал. Сокрушался о моих затруднениях. Услышав от меня, что я имею недурную деловую информацию, которую хотел бы использовать, чтобы пристроиться к какому-нибудь делу, Капнист мне указал как на лицо, которое могло бы быть полезно мне в этом отношении, на заведовавшего домами Капниста в Москве некоего Заболоцкого, молодого человека, разбогатевшего на спекуляции домами. О моем возможном обращении к Заболоцкому Капнист обещал мне с ним переговорить.

Заболоцкий оказался членом товарищества «Экрос», присутствовал на его собрании при моем участии и слушал мой доклад об имевшейся у меня и соби-

равшейся мною информации. Наговорил мне по поводу доклада много лестного. Очевидно, Капнист успел перемолвиться с ним обо мне. Заболоцкий задумал сообща с неким бароном Менгденом, с которым поспешил меня познакомить, создать независимую от «Экроса» однородную деловую комбинацию. Встретившись со мною, стал вовлекать меня в эту комбинацию, заинтересовавшись, как я это сразу уразумел, несмотря на его хитрые подходы, не столько моими деловыми качествами и собранною информацией, сколько моими связями с верхами «бывших» — бывшими министрами царского режима и другими сановниками, очевидно, желая через меня познакомиться с ними, а кое-кого и вовлечь в свою комбинацию для придания ей вящего веса. Хотя товарищество «Заболоцкий-Менгден» не сулило мне, впредь до реализации сомнительных дивидендов, ни одного ломаного гроша, я согласился вступить и в это товарищество, считая целесообразным кумулировать участие в предприятиях: провалятся девять — вывезет десятое! Товарищество «Заболоцкий-Менгден» под официальным названием «Менгден и К°» вошло, по примеру «Экроса», участником в товарищество «Гермес». Оба учредителя товарищества «Менгден и К°» прибыли вслед за моим посещением Москвы в Петербург, где я их познакомил с Н. Н. Покровским, В. А. Арцимовичем и С. А. Шателеном. Все трое вошли в товарищество «Менгден и К°». Мне была выдана нотариальная доверенность на ведение в Петербурге дел товарищества.

Тут подоспело и приглашение на безвозмездную пока работу в Союз международных торговых товариществ в должности директора правления датского товарищества. Работы не оказалось, собственно, никакой. Отвели мне маленький кабинетик в верхах бывшего дворца вел<икого> кн<язя> Владимира Александровича со стороны Миллионной. Я заходил время от времени в этот кабинетик на случай, если вдруг понадобится администрации союза или какому-нибудь посетителю. Но ни разу такого случая не представилось. Я проводил час-другой в помещении союза и занимался там делами «Экроса».

Не помню, при каких обстоятельствах и по какому поводу я встретился с дельцами конторы «Лемке и К°», помещавшейся на Итальянской, рядом с Пассажем. Их было трое — Лемке и два его компаньона, фамилии которых позабыл. Один из них — почтенный, отменно симпатичный, умный и деловитый инженер путей сообщения, пожилой, слегка прихрамывавший. Мне особенно досадно, что я позабыл его фамилию. Его самого я отчетливо помню по миновании почти четверти века. И память о нем сохранилась светлая и приятная. Лемке — молодой, предприимчивый, неглупый, с маленькой светленькой бородкой на худощавом лице, высокий, тонкий. Что касается третьего компаньона, то я позабыл не только его фамилию, но и наружность, качества и его самого. Так и вычистило его из моей памяти без остатка. Лемке, узнав о моих связях, экспансии участия в деловых комбинациях и богатой информации о «предпринимательских возможностях», энергично за меня ухватился и, посулив золотые горы от связи с конторой его имени, добился моего согласия связаться с нею и открыть ему и его компаньонам двери всех комбинаций, в которых я участвовал, познакомив компаньонов со всеми лицами значительного положения в прошлом, с которыми я был связан дружескими или деловыми отношениями. Лемке и выскользнувший из памяти моей его компаньон даже сопровождали меня в Москву, когда я был туда вызван «Экросом» для участия в созданном общем собрании членов товарище-

ства. Я представил компаньонов правлению, и они были допущены присутствовать в общем собрании товарищества. Лемке просил собрание о принятии конторы его имени в число участников товарищества «Экрос», на что последовало согласие общего собрания.

Суета сует и всяческая суета. Лемковская, менгденовская комбинации, Союз международных торговых товариществ, даже собственное мое детище товарищество «Гермес» — все были и до конца остались суетными предприятиями. Все для меня явились бесплодными смоковницами. Давал мне кусок хлеба один «Экрос».

Покровские, как и наша семья, проводили лето 1918 г. в Павловске. Виделись часто. Часто Николай Николаевич и я вместе выезжали в Петербург, куда я лично отправлялся почти ежедневно, кроме, разумеется, воскресений, в заботах о своих «комбинациях».

Много мы с Николаем Николаевичем беседовали в эти дни при наших встречах на злободневные темы. Покровский продолжал ошибаться в прогнозе политических перспектив. Утверждал, что большевистский режим нежизнеспособен, а потому недолговечен, что в конце концов большевики уйдут. «Не скоро», — оговаривал он свои предвидения. И приводил историческую справку: «Нечто подобное тому, что произошло у нас, случилось в средние века в Чехии и там продержалось четырнадцать лет³². Инерция нашей страны больше. Процесс будет длительнее. Сроки будут больше».

«Большевики уйдут, — повторял за Покровским также проводивший лето 1918 г. в Павловске, по соседству с дачей, занятой моей семьей, Анатолий Федорович Кони, — большевики уйдут, большевизм останется».

Произнесено имя Анатолия Федоровича Кони. Не может пробудившаяся память о нем не остановиться подробнее на этой интересной личности. Хочется посвятить ей несколько строк. Анатолий Федорович поддерживал приятельские отношения с моими дядюшками и тетками как с отцовской, так и с материнской стороны. С дядюшкой Александром Алексеевичем Лопухиным он был связан и общностью службы в судебном ведомстве, и судьбы. Занимая командные посты в соответствующих судебных установлениях Петербурга, оба пострадали из-за процесса Веры Засулич. Как известно, Засулич, стрелявшая в градоначальника Трепова (отца Трепова, бывшего короткое время временщиком в царствование Николая II), Засулич была оправдана судом. Такой неожиданный и менее всего желательный для правительства результат этого дела не без основания приписывался в значительной степени воздействиям Кони и Лопухина. Оба попали в опалу, смещенные на менее видные должности. Приятельским отношениям Кони с моей родней я обязан знакомством и встречами с ним преимущественно в салоне тетушки Эмилии Алексеевны Капнист. К тому времени опала с Кони была снята, и он был сенатором. По внешности дурен собой, маленький, щупленький, с тусклым, отображающим собачью старость бледным лицом унылого финна. Но глаза — полные жизни, блеска, ума. И удивительно выразительные. Он был известен как выдающийся оратор, обративший на себя внимание вначале судебными речами, а затем вскоре выдвинувшийся выступлениями самого общего свойства, от публичной лекции до застольного спича, прощального слова на могиле, рассказа в салоне. И действительно, был упоительно красноречив. В то же время прост, понятен и ясен в своем слове, чуждом всякой вычурности и пафоса. Слушать его было истинное удовольствие! Высококвалифицированный оратор!

Но не был ли он одновременно и превосходным актером? В самом деле, ведь что-либо рассказывая, он производил впечатление артиста, играющего заранее разуценную роль. Так, как он, не рассказывают. Так именно играют на сцене. Всякое слово взвешено. Всякий жест обдуман. Разуцена сложная игра выразительности лица. Что Кони, рассказывая, играл заранее разуценную роль — об этом говорит его привычный подход к повествованию. Вы сидите, скажем, в салоне графини Эмилии Алексеевны. Присутствует Кони. Всеобщее внимание сосредоточено, разумеется, на Анатолии Федоровиче. И незаметно ведущую нить разговора захватывает и далее разворачивает ее клубок он. Незаметно же со случайной темы начала разговора Кони сворачивает на другую, очевидно, заранее им выбранную тему подготовленного рассказа. Иначе и быть не могло. Рассказы Кони по богатству содержания и сложности действия не могли быть экспромтами. Собираясь посетить — пусть это будет сегодня вечером — такой-то дом, Анатолий Федорович с утра готовился к очередному художественному выступлению, как в свое время готовился к судебной речи, к публичной лекции. Из большого своего запаса тем рассказов и «экспромтов» выбирал такие, которыми ранее в данном доме не пользовался. Повторяться не следует. И в блеске литературного изложения, ясного и простого, звучало вдохновенное слово. Голос теплого, мягкого тембра, мелодичный и приятный. Если вы всматриваетесь, вслушиваетесь, то убеждаетесь, что перед вами действительно не столько оратор, сколько превосходный актер, лишь играющий роль так восхитительно тонко, что поначалу вы никогда не скажете, что это роль. Чудесный актер играл на незримой сцене. Однако стоило секрету Кони хоть раз перед вами вскрыться, как эта сцена открывалась вам уже всякий раз, при каждом соответствующем выступлении Анатолия Федоровича. И в то же время Кони был непревзойденным оратором. Какая жалость, что, так свободно владея художественным словом, он, при его талантах, не сделался писателем. Как будто попытки были, но успехом не увенчались. Каждому свое! Он был избран академиком разряда изящной словесности. Помню его первое по избранию ораторское выступление на торжественном публичном заседании Академии наук под председательством великого князя Константина Константиновича. Темой явились воспоминания о Владимире Соловьеве. В публике среди присутствовавших был Сергей Юльевич Витте. Кони говорил о душевной чистоте покойного философа. Уподобил ее небесной лазури. Но почему-то ему понадобилось отыскать на ней какое-то «крошечное, едва заметное пятнышко». О пятнышке Анатолий Федорович говорил долго, однако так задушевно ласково, что от обнаружения этого пятнышка вновь испеченным академиком покойник мог испытать одно только удовольствие.

Как все это казалось давним, далеким в описываемый потрясающий 1918 г.!

Прогремели выстрелы. Пали видные большевики Володарский и Урицкий. И было произведено в Москве покушение на В. И. Ленина³³.

Урицкий был убит в том самом вестибюле бывшего Министерства иностранных дел, через который в течение ряда десятков лет чиновники дипломатического ведомства ежедневно проходили, являясь на службу и уходя со службы, — вчерашние студенты, правоведаы, лицеисты, завтрашние посланники, послы, министры.

На следующий день в трамвае я слышал, как некий гражданин, по облику рабочий, сосредоточенно серьезно, с ненавистью и угрозой в голосе говорил: «За эту кровь ответит нам тысяча жизней!»

Это были страшные дни³⁴.

И в эти именно дни, зайдя однажды утром по делу «Гермеса» в контору Лемке, я услышал от отворившего мне дверь и впустившего в контору человека в кепке и с винтовкой приветственное слово: «Входите, гражданин, вы арестованы».

Я повертелся в передней взад-вперед. Видел через дверь, открытую в зал, всех трех хозяев конторы, следивших за тем, как двое посторонних лиц в кепках рылись в их бумагах и делах, вскрывали и обыскивали ящики столов и шкафов. Ошарашенный арестом, я быстро пришел в себя. Нашелся. «А скажите, товарищ, где у них здесь уборная?» — спросил я сторожившего меня человека с винтовкой.

«Тут вот», — указал он мне на дверь в начале коридора, выходящего в переднюю.

Не торопясь, спокойно я вошел в уборную, закрыл дверь на задвижку и тут мигом спустил в горшок все находившиеся при мне документы, предъявление которых при аресте считал для себя нежелательным.

«Они» были еще неопытны.

«Гражданин, мы должны вас обыскать», — сказал мне, по-видимому, старший из группы, производившей обыск.

«Пожалуйста».

Он нащупал у меня бумажник, портсигар, карманные часы, портмоне. В бумажнике обнаружил выданный мне в последнюю минуту перед уходом из Министерства иностранных дел смотрителем зданий министерства «беститульный», как я его назвал, паспорт, не содержащий никаких упоминаний о моей бывшей должности, чине и звании. Спасительный паспорт! Вот когда он мне сослужил первую и едва ли не самую важную службу. Лицам моего прошлого положения приходилось в эти дни нехорошо.

В вышедших откуда-то в переднюю и там стоявших в выжидательных позах трех посторонних конторе лиц, не принадлежавших к числу производивших обыск, я разгадал товарищей по несчастью — арестованных, как я, посетителей конторы.

«Собирайтесь, — объявил старший по обыску, — едем на Гороховую» (разумелся занятый органами по борьбе с контрреволюцией дом бывшего градоначальства на углу Адмиралтейского пр<оспекта> и Гороховой).

Я ждал, что с нами прихватят и хозяев конторы, что и их повезут арестованными на Гороховую. Ничуть не бывало. Красные, взволнованные, они вышли в переднюю проводить нас. А сами остались в конторе.

Что это было такое? Нелепость? Сапоги всмятку? Что заменяло головы у лиц, арестовавших нас?

А достаточно было в эти дни быть арестованным, чтобы оказаться вслед же <за> тем выведенным в расход.

Под винтовками в открытом небольшом грузовике мы пронеслись с Итальянской через Невский на Гороховую. Публика оглядывалась на нас и, казалось, сочувственно «прощалась».

Мне всегда думалось, когда выпадал досуг заняться самоанализом, что я трус. А вот по настоящему случаю — ареста в очень страшные дни для «бывших», когда, как мне было доподлинно известно, произошли ужасы с людьми и значительно меньшего положения, сравнительно с занимавшимся мною, когда я был, что называется, на волосок от самой ужасной смерти, какую является смерть от руки палача, я не чувствовал того животного страха, того сумасшедшего ужа-

са, которые думал испытать в подобном случае. Испытывал лишь какую-то особую, правда, неприятную, но переносимую напряженность мозга. Она выливалась в максимальную сосредоточенность мысли, способную, казалось, породить в нужную минуту находчивость и гарантировать, в предотвращение опасности, правильность внезапного решения. Не было во мне ни малейшей растерянности. Выходило, что я не трус.

Когда нас привезли на Гороховую, было часов 11 утра. Ввели в большой зал в верхнем этаже дома бывшего градоначальства, где уже набралась многочисленная компания арестованных. Я хранил спокойствие. Ничего не оставалось другого, как отдаться течению событий и спокойно выжидать, когда наступит момент действовать. Мысль все-таки перебирала различные варианты того, что ожидало нас. Не исключалось самое плохое. Затем мнилась возможность лишения свободы. Надолго? Быть может! А может быть, и не надолго. Не удивительно будет, если и сразу отпустят после допроса. Товарищи по несчастью говорят, что арестованные делятся на две группы привлекаемых — по политической контрреволюции и по контрреволюционной спекуляции. Мы, по-видимому, отнесены ко второй группе. Арестованы в конторе, собиравшейся приступить к торгово-промышленной деятельности. Это, во всяком случае, лучше привлечения по политической контрреволюции. Время идет. Не спешит. Но и не тянется. Сходит час за часом. Я встал спозаранку. Только успел чаю выпить. Пора бы проголодаться. Но мне не хочется есть. Все из-за напряженности, которую я испытываю. Между тем в кармане пальто у меня пакет, содержащий холодный завтрак. Отчетливо помню, что были в пакете крутые яйца.

Среди арестованных вижу две знакомые оригинальные фигуры. Братья Войсковы. Уношусь мыслью к ведомым мне отрывкам бытия этих чудаков. Старшего, Алексея Алексеевича, я хорошо знаю. Он был одним из первых секретарей канцелярии нашего министерства. Оставил службу по случаю избрания в члены Государственной думы. Я его встречал, помимо министерства, у тетушки Эмилии Алексеевны. И было время, что он изредка заходил ко мне. Исключительно порядочный, честный и чистый был он человек, и очень благовоспитанный. Но не умен, не деловит, чудаковатый, рассеянный, вечно как будто сконфуженный, робкий и кроткий. Ростом был небольшой, лысенький, с черною бородкою, повадками напоминающий перепуганного цыпленка. Припомнился рассказ, рисующий чудачество его батюшки, от которого немудрено было унаследовать ненормальность — небольшую у Алексея Алексеевича и избыточную у младшего его брата. Последнего не было еще на свете, но появление со дня на день ожидалось, когда отличился папаша. Семья проводила лето в швейцарском кантоне. Врач, следивший за беременностью мамы, предупредил, что пора озаботиться приисканием кормилицы, поскольку мамаша была признана непригодною для кормления ожидавшегося младенца. Приискание кормилицы решил взять на себя папаша. И вот в одно прекрасное летнее утро, напившись кофе со сливками и скушав вкусную булочку, папаша собрался в поход. Поцеловал в лобик мамашу и Алексея Алексеевича, которому было в ту пору 3–4 года, взял тросточку, бумажник с деньгами, соломенную шапочку и пустился в путь. Желая сочетать приятное с полезным — поиски кормилицы с прогулкою — отправился пешком. Вышел. И только его и видели мамаша и сынок. Так он к ним и не вернулся. Шел, шел. Как, когда, где, почему — сел в поезд и очутился через положенное

число дней в России — так, как был, в соломенной шапочке, с тросточкой, без пальто. Заметьте, что он был очень привязан к своей жене. Никакого романа на стороне у него не было. Никакого не было разлада с женою. Ничем нельзя было мотивировать его бегства, и никогда мотивировано оно не было. Если до этого происшествия мамаша родила чудака, то после необычайного поступка мужа, потрясенная этим поступком, разрешилась уже заведомым кретином, наружностью напоминавшим Алексея Алексеевича, только Алексея Алексеевича сильно подурневшего и, если так можно выразиться, искаженного. Хотя и кретин, но, принадлежа к хорошей семье, Воейков-младший, формально закончив в действительности не полученное образование, был взят А. Н. Куломзиным, в бытность последнего управляющим делами Комитета министров, в канцелярию комитета «чиновником для письма». Привыкнув к его странностям и потому перестав их замечать, сослуживцы по неосторожности как-то послали Воейкова-младшего в Министерство земледелия за справкой. Прибыв на место, кретин сумел кое-как объяснить, каким учреждением он послан. Но далее запорол такую чушь, что у «земледельцев», что называется, глаза на лоб вылезли. Они стали его пытаться вопросами с целью выведать, да вправду ли он прислан канцеляриею комитета. На вопрос, кто его начальство, он долго мямлил, совершенно позабыв о существовании Куломзина. Вдруг вспомнил, что у комитета есть председатель и председатель этот какой-то Христианович (запомнилось только отчество; имя и фамилию Николая Христиановича Бунге Воейков-младший позабыл). «Христиани, Христиани», — радостно залепетал он. «Земледельцы» окончательно решили, что посланец сумасшедший, и отправили гонца в канцелярию Комитета министров. Явился чиновник канцелярии и увел приобретенного с той поры кличку «Христиани» необычайного посланца восвояси.

«Что за чушь лезет мне в голову? — точно от сна очнувшись, спросил себя я. — Быть может, в эту самую минуту решается моя судьба! И в какую страшную сторону она может быть решена!»

И все же страха животного, дрожащего, выстукивающего дрожь зубами и выжимающего холодный пот я не испытывал. Только немножко было страшно. И я всею силою воли напрягал мысль на отчетливость и ясность находчивых ответов на предстоявшем допросе.

Стало вечереть. А мне все не голодно!

За окнами было уже совсем темно. Зал, в котором мы сидели, утопал в сумерках скудного электрического освещения. И вот, первым из арестованных в конторе Лемке, был вызван к следователю я.

— Садитесь. Что это вы, батенька, по спекулянтам шляетесь? Совсем там вам не место. Поглядишь, сами вы нисколько на них не похожи. Бросьте! До добра они вас не доведут. Займитесь другим делом.

— Я совершенно случайно туда попал. Случайно познакомился с одним из хозяев конторы, в которую сегодня зашел, инженером Х. Он показался мне дельным и хорошим человеком. И я хотел с ним посоветоваться о возможностях присискания работы. А конторы и ее дел мне вовсе не было нужно. Они ничуть не интересуют меня. Но, конечно, в другой раз я в такое заведение не попаду. Достаточно с меня полученного урока.

— Ладно, я вас отпускаю. Только вот какое дело: я устал. И проголодался. А надо написать протокол вашего допроса. Хотите, сделаем так: я пойду поужи-

наю. А вы садитесь на мое кресло и напишите протокол. Допросите сами себя — вот по этому примерно образцу.

Следователь ушел. А я, усевшись за его стол, сам себя, как он пошутил, допросил и написал протокол допроса.

Потом сообразил, что вряд ли буду отпущен один, а вместе со своими, как я их называл, товарищами по несчастью, и что мне придется ждать, быть может, долгое время, пока следователь их допросит и составит протоколы на них, я, что называется, разнахальничался. Вышел из кабинета следователя в зал, вызвал своих товарищей по аресту, рассказал им про предложение следователя самому мне написать на себя протокол и предложил свои услуги для написания протоколов на них. Они охотно согласились. Я их добросовестно допросил и, написав протоколы, отпустил обратно в зал.

— Ну что? Справились с работой? — раздался надо мною голос вернувшегося следователя.

— Не только со своим протоколом справился, — отвечал я, — но и с протоколами товарищей, которых обстоятельнейшим образом допросил.

— Вот спасибо! Удружили! Дайте пробежать ваши труды. Так, хорошо, хорошо! Ну что же? Напишу всем пропуски.

Минут через десять мы выходили из дома бывшего градоначальства. Какая ощущалась радость бытия! Вот когда я наконец проголодался! И тут же, не сходя с подъезда, через который был выпущен, я съел одно за другим бывшие при мне два крутых яйца, тщательно очистив от скорлупы и не забыв посыпать солью из имевшейся щепотки ее.

Как хорошо, что я спустил в горшок уборной в конторе Лемке мои удостоверения об участии в ряде таких же предприятий! Ведь если, не разоблаченный этими документами, я был признан непохожим на спекулянта и потому так легко отпущен, то при наличии доказательств о принадлежности к торгово-промышленным организациям несомненно сошел бы за спекулянта, и кто знает, какие могли бы произойти из этого последствия для меня.

И как хорошо, что у следователя не оказалось суворинского адрес-календаря³⁵. Ведь он разоблачил бы все утаенные моим беститульным паспортом мои бывшие титулы и звания. Тогда, в те именно дни, мне пришлось бы уже совсем плохо.

«Они» были еще неопытны.

Ну а я, тем не менее, решил больше ни по каким Лемке не шляться, прекратив участие и в делах «Гермеса», и менгденовской компании, сначала как бы временно, под предлогом потрясения вследствие ареста. Положил продолжать, только и только, отписывать «предпринимательские возможности» «Экросу», да еще числиться пока, воздерживаясь, однако, от всякой активности, в Союзе международных торговых товариществ.

Тем временем произошли события, положившие конец суете «бывших» вокруг вопроса о торгово-промышленной экспансии. Промысловые их товарищества были прикрыты. И как просто, быстро, без ненужных предупреждений и волокит. К нашему «Гермесу» под вечер подкатил грузовик с гражданами с винтовками и мандатами. По предъявлении соответствующего документа с печатью курьера товарищества, проживавшему в помещении «Гермеса» в видах его охраны, прибывшие граждане погрузили и вывезли весь конторский инвентарь «Гермеса», включая «Ундервуд», всю до мелочей обстановку товарищества. Остались курьер и голые стены.

Не знаю, в силу каких обстоятельств и как прикончили «Экрос», но я получил от товарищества, вскоре после экзекуции «Гермеса», безмерно огорчившее меня сообщение о том, что «Экрос» «временно» закрывается; о времени возобновления его деятельности буду поставлен в известность особо; пока же приглашаюсь получить последнее причитающееся мне жалование.

И вслед за тем, зайдя в Союз международных торговых товариществ, я застал С. А. Шателена в беседе с гражданином отменно европейской внешности — от солидной прически коротко подстриженных серебристых волос и чисто выбритого лица над белоснежным крахмальным воротничком до мастерски сшитого темных красок костюма и лакового блеска изящной обуви. Гражданин сухо, надменно и не без раздражения вещал о монополии внешней торговли, настаивая на передаче соответствующим советским органам всех поступавших в союз из-за границы предложений импорта и требований экспорта. Однако бедный союз за все время своего существования получил всего одно только предложение — не то на ввоз партии каучука, не то на вывоз старой резины. Все же в результате разговора прикрылся и союз.

Не ведаю, что случилось с лемковской и менгденовской комбинациями, потеряв всякую связь с ними. Но они не могли избежать общей участи, и, очевидно, и эти комбинации тогда же прекратили свое существование.

Прояснило наши мозги. Мы, наконец, поняли. Вникли в программу и политику нашей власти. Нечего говорить, следовало прозреть раньше, кое к чему присмотреться, кое о чем порасспросить, кое-что почитать! И мы не затратили бы столько времени и сил на химерические затеи. Мне лично, конечно, не придется жаловаться на тщету проделанного. Я все-таки с зимы до осени кормился «Экросом». А другие мои друзья и товарищи? Вся масса еще не приобщившейся к государственной службе интеллигенции? Они, конечно, затратили попустому труд, а иные — и материальные средства. И все претерпели тяготу безработицы.

Надо было искать работу не там, где ее искали впавшие в ошибку «бывшие». Прежде, кроме правительства, работу давали богатые люди. Теперь их не стало. Предложение работы сосредоточилось в руках одного правительства. К нему только и осталось обращаться всем ищущим труда, за исключением лишь работающих на определенную клиентуру специалистов, занимающихся либеральными профессиями.

Подстегнула в Петербурге «бывших» к предложению услуг правительству происшедшая в 1918 г. в городе вспышка холеры.

Не работавших интеллигентов привлекли к рытью могил для умерших от эпидемии³⁶.

Надо было во что бы то ни стало поступить в какое-нибудь советское учреждение или предприятие на работу, во-первых, ради ее самой в идеологических соображениях любого толка, во-вторых, чтобы кушать и не рыть могил.

«Довольно покобенились и поголодали! — объявил мне при встрече упоминавшийся выше в записках бывший старший делопроизводитель Второго департамента Министерства иностранных дел Андрей Владимирович Сабанин. — Пора приняться за дело. Но работать как следует можно только по специальности. Предложу услуги Наркоминделу».

Предложил. И был принят в ведомство одновременно с просившимися в Наркоминдел сослуживцами Сабанина по департаменту — славным и очень

дельным Лашкевичем и молодым, но уже зарекомендовавшим себя своими способностями Колчановским. Принят был в Наркоминдел и служивший в посольстве в Константинополе Флоринский.

Припоминается, как не совсем обычно он попал к нам в министерство — не по своей инициативе, а по нашей. Произошло это так. Мы всегда имели плохую прессу. Газеты нас упрекали и за немецкое засилье в личном составе, и за засорение состава «привилегированными» — правоведами и лицеистами. Рекомендовалось привлекать в большем числе студентов университетов. Вот я и получил распоряжение, незадолго перед империалистической войной, сочинить обращение к ректорам университетов, в котором в привлекательных красках обрисовать преимущества службы в дипломатическом ведомстве и просить ректоров, заинтересовав этими преимуществами студентов, направлять окончивших курс к нам. На составленное в этом смысле обращение министерства отозвался один только ректор — Университета св. Владимира в Киеве. И направил одного-единственного окончившего курс студента — своего сына. Это и был Флоринский — дипломат, порожденный моим циркулярным письмом.

По приезде он был направлен ко мне. Я ему преподавал первые необходимые разъяснения для ориентации в ведомстве. Мы его отправили в Константинополь студентом посольства (младшая должность при дипломатических установлениях на Востоке).

Перечисленным бывшим чиновникам Министерства иностранных дел из молодежи открылась широкая карьера в Наркоминделе, и они достаточно высоко в этой карьере поднялись. Особенно поднялся Сабанин, по заслугам ценившийся в ведомстве как исключительный знаток ответственного дела заключения международных договоров.

Поднялся в верхи Наркоминдела и Флоринский, бывший несколько лет подряд начальником протокольной части ведомства.

Доливо-Добровольский, отдавшийся в распоряжение советского правительства тотчас по овладении властью большевиками, держался в Наркоминделе относительно недолгий срок и по причинам, оставшимся мне неизвестными, вскоре оставил ведомство.

Я забыл в своем месте еще упомянуть, что после оставления мною должности предложил Троцкому заменить меня собою некто Петров — ^aбывший^a чиновник консульского корпуса на Востоке, ^bимевший^b какие-то неприятности^b в поезде с жандармом и в связи с этой очень туманной историей отчисленный от должности с оставлением, тем не менее, в ведомстве³⁷. Недолго думая, Троцкий взял его на службу. Но он не много времени продержался, успев, однако, переехать с Наркоминделом в Москву.

В советских газетах прочел, что Сабанина и его товарищей за то, что они поступили в Наркоминдел, белоэмигрантская печать за границей обозвала изменниками.

Белоэмигранты показали себя в первые годы после Октябрьской Революции чрезмерно строгими. Не подобрили ли они с тех пор?

В двадцатых годах они, со слов ездившего за границу лечиться народного артиста Собинова, близкого мне человека и школьного товарища, вешали ему:

^{a-a} Вписано вместо: «полусумасшедший».

^{b-b} Вписано вместо: «подрывшийся».

«Гробов на вас, оставшихся в России, не хватит, когда мы вернемся водворять порядок на родине!»

Каково бы, однако, ни было отношение белоэмигрантов к Сабанину, я лично считаю себя ему обязанным за заставившие меня опомниться и призадуматься вовремя сказанные умные слова: «Довольно покобенились! Пора приняться за дело!» За год, истекший со дня овладения властью большевиками, обстоятельства-таки изменились. Обстановка со дня на день становилась все напряженнее и грознее. Шутки надо было отставить в сторону.

Отойдя поэтому от ставшей никому не нужной химеры «предпринимательских возможностей», ставших невозможностями, чтобы приобщиться к реальной работе большинства интеллигенции, чтобы кормиться с семьей и не рисковать представлявшимся неподходящим для меня делом, как по настроению, так и по возрасту и здоровью, — принудительным рытьем могил, — я одновременно с многими стал искать работы в государственных учреждениях.

Помог и в этом случае В. А. Бонди, чье имя так часто упоминается в настоящих записках. Его приятель, бывший начальник Военно-судного управления генерал Владимир Александрович Апушкин устроился управляющим делами в железнодорожной продовольственной организации «Всероссийское бюро снабжения железнодорожников» (в Петербурге, на Пушкинской ул<ице>, в бывшем Пале-Рояле, работало Северное отделение этого бюро). Меня, по просьбе Бонди, Апушкин провел в эту организацию на должность своего помощника.

Свершилось! Миновала пора последних колебаний! Я и со мною многие из медливших с поступлением на государственную службу сделали заправскими советскими работниками.